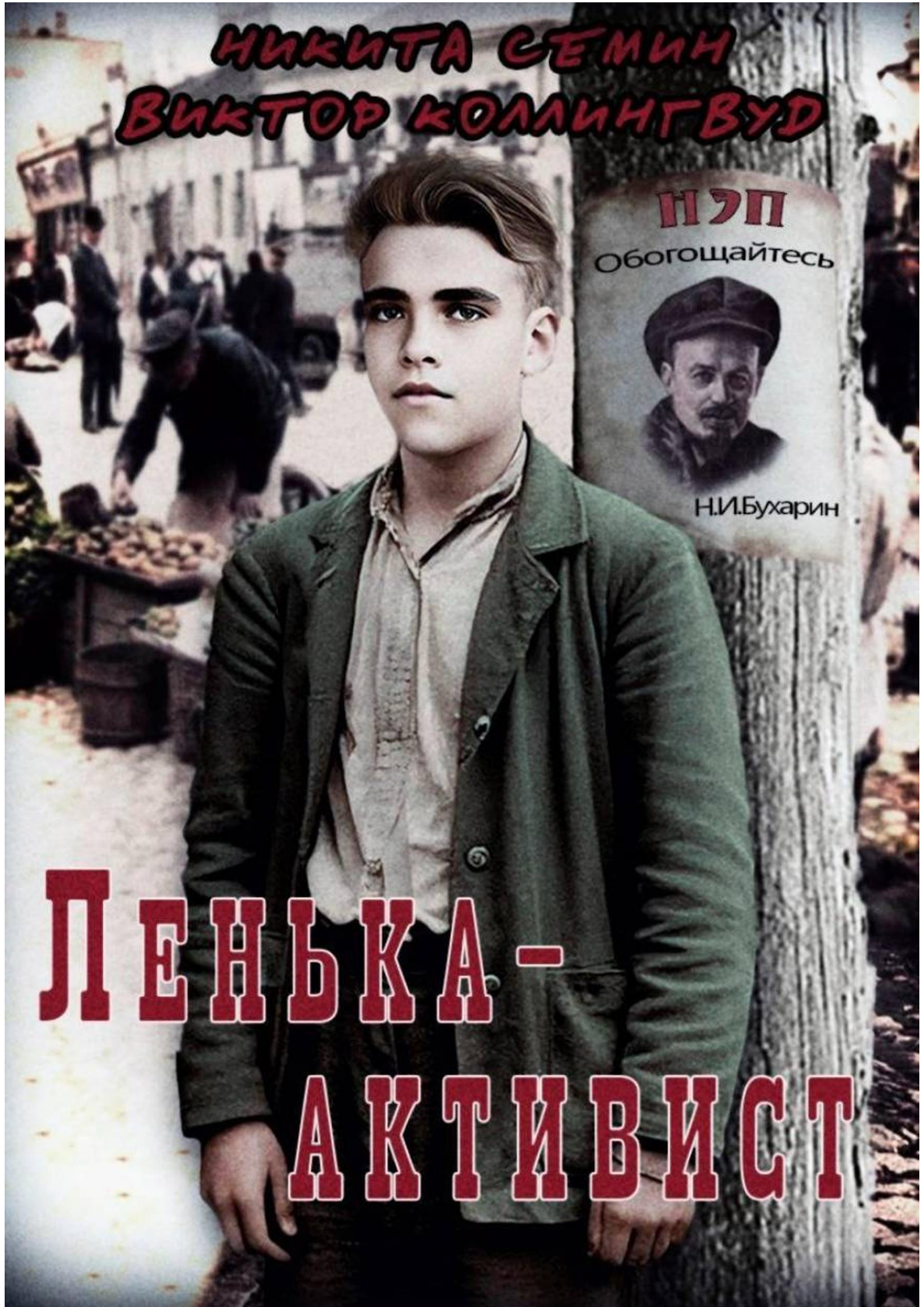
НИКИТА СЕМИН
ВИКТОР КОЛЛИНГВУД



ЛЕНЬКА-АКТИВИСТ

Никита Семин

Ленька-активист

«Автор»
«Автор»
2026

Семин Н.

Ленька-активист / Н. Семин — «Автор», «Автор», 2026

Ленька Брежнев – так меня теперь зовут. Ага, четырежды герой, генсек и т.д. В будущем. А пока – сопливый пацан 12-ти лет в самой гуще гражданской войны.Стартовые условия – как у любого подростка тех лет, и лишь мысль, что настоящему Леониду Ильичу удалось дойти до вершины, греет и не дает сдаться. Но самое главное – не повторить его ошибок на вершине власти... до которой еще нужно добраться!

© Семин Н., 2026
© Автор, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 19
Глава 4 24
Глава 5 29
Глава 6 34
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Никита Семин, Виктор Коллингвуд
Ленька-активист

Глава 1

Вас вызывают в Москву!

Сколь многое значат эти слова для рядового советского функционера! Стоит хотя бы мысленно их произнести, и в голове тотчас же возникает целая феерия надежд и планов! Перевод в Наркомат…или, чем чорт не шутит, в аппарат ЦК! Москва, столица мировой революции, центр, откуда расходились все нити, манила не только карьерными перспективами, но и чисто бытовыми, материальными благами, о которых в провинции можно было только мечтать.

Столица, близость и внимание начальства, электрическое освещение, хорошая квартира в приличном доме, по соседству с чинами из обкома. Не угол в забитой битком коммуналке, где за стенкой храпит сосед, а за другой — плачет ребенок, и вечная очередь в единственный на всем этаже санузел. Нет, в Москве, если уж ты угодил на работу в центральный аппарат, обязательно получишь отдельную комнату. А может, если повезет, и целую квартиру! Пусть небольшая, неоднократно «уплотненная», но своя! И непременно — с отдельной ванной, где можно будет не спеша понежиться в горячей воде, а не обливаться из ковшика в общей бане раз в неделю. Представлялось, как я буду создавать новое жилище: стол, покрытый зеленым сукном, книжные полки до потолка, удобное кресло, в котором можно будет по вечерам читать или готовиться к выступлениям. Патефон с пластинками Шаляпина или Вертинского! Закрытые раздачи для сотрудников ЦК, Наркоматов, где можно «достать» то, о чем простые смертные и мечтать не смеют! Столичные театры — Большой! Художественный! Мейерхольд, Таиров! Балет! «Красные маки» — самый писк этого сезона! А может быть… Нет, это, конечно, чересчур смело, но может быть, вдруг все-таки случится так, что тебе предоставят в личное пользование настоящий автомобиль? Мечты, мечты…

Однако я, держащий сейчас в руках бумагу с заветными строками, испытывал совсем другие чувства.

***

Вот она, телеграмма. Казенная, тонкая, почти папиросная бумага, и слова на ней — сухие, как прошлогодние листья, но от них веяло ледяным сквозняком. «СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙТЕ МОСКВУ РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦК ВКП (Б) ТЧК ЯВИТЬСЯ ТОВАРИЩУ ЕНУКИДЗЕ ТЧК».

Вот так вот. Телеграмма не просто из Москвы — из ЦК партии. От самого Енукидзе, Авеля Сафроновича, не много ни мало — секретаря ЦИК СССР. Человека из «ближайшего окружения». Сердце мое, молодое, давно привыкшее к авралам, сделало неприятный кульбит. Интуиция буквально вопила: вызывают не для похвалы. Мое недавнее письмо в ЦК, подписанное несколькими комсомольскими вождями из Харькова, о «перегибах на местах в вопросе украинизации», где я, зная о недовольстве части русскоязычного населения, осмелился высказать высшему руководству некоторые рекомендации о методах ее проведения, вероятно, оно нашло-таки адресатов. И они теперь очень, очень недовольны мною. Я знал, что вмешиваюсь в большую политику. В частности, товарищ Сталин сейчас, в своем противостоянии с Зиновьевым и Каменевым, наоборот, поддерживал украинизацию, стремясь ослабить влияние «ленинградской» и «московской» оппозиции. И мое письмо, по сути, пошло вразрез с его нынешней тактической схемой. Это были уже не просто «игры разума», это была игра с огнем. Большая, опасная игра.

Поездка в поезде тянулась мучительно долго. Мне достался вагон с жесткими лавками, насквозь пропахший махоркой и креазотом, битком набитый разного рода советскими пас-

сажирами — красноармейцами, служащими, прочей небогатой публикой. Сквозь пыльное, дребезжащее стекло мелькали унылые осенние пейзажи. Я прислушивался к стуку колес на рельсовых стыках, что будто бы монотонно отсчитывал последние мгновения моей спокойной жизни, и думал. Эта поездка определяла всю мою дальнейшую судьбу. Пан или пропал. Все зависит теперь от меня. Ах, если бы я мог убедить руководство, что мои действия продиктованы не фрондерством, а заботой о деле! Хотя — кого я обманываю? Отправляя то письмо, я шел ва-банк.

Москва встретила меня суетой, гудками автомобилей и какой-то деловитой, вечно спешащей озабоченностью на лицах прохожих. Кремль. Древние, краснокирпичные стены, башни, еще увенчанные старорежимными орлами, золотые маковки соборов. Затем — комендатура, долгая, придирчивая проверка документов. Молодой сотрудник спецохраны Кремля с холодными глазами долго вертел в руках мой комсомольский билет и трудовую книжку. Наконец, формальности были закончены, и меня направили в здание ЦК. Высокие, гулкие коридоры со сводчатыми потолками, тускло освещенные красными лампочками в пыльных плафонах. Кругом непривычный запах — смесь старой бумаги, сургуча и ароматного табака «Герцеговина Флор».

В конце коридора, молчаливый сотрудник в штатском, миновав кабинет Енукидзе, привел меня в небольшую, даже, можно сказать, скромную комнату. Стены до уровня груди покрыты темными деревянными панелями, выше — покрыты самой обычной побелкой, на полу — старый, довольно зашарканный паркет. Простой письменный стол из светлого дерева, заваленный бумагой, за которым сидел секретарь — молодой человек с бледным, усталым, но очень сосредоточенным лицом, в круглых роговых очках с толстыми стеклами. На столе — черный бакелитовый телефонный аппарат с блестящим никелированным диском и массивным рычагом. Несколько жестких стульев вдоль стены, обитых темным, потрескавшимся от времени дерматином. На стене — большой портрет Ленина в знакомой позе, указывающего путь, и еще один, поменьше, Дзержинского в профиль, с его пронзительным, не терпящим возражений взглядом. Тишина, почти давящая, нарушаемая лишь скрипом пера секретаря да монотонным тиканьем больших круглых настенных часов с оправой из цифр. Я присел на краешек одного из стульев, положив на колени свою тощую ручку. В приёмной, кроме меня, — ни души. Это было странно и еще больше усиливало тревогу.

— Это — Брежнев! — произнес сопровождавший меня чекист и затворил дверь.

Секретарь, не поднимая головы, негромко произнес:

— Товарищ Брежнев? Проходите. Иосиф Виссарионович вас примет.

Сердце мое замерло, ноги вдруг стали ватными. Сталин? Так меня вызвал сам Сталин? Ну ё-моё… Точно, не обойдётся без выволочки, а то и чего похуже!

И не успел я еще привыкнуть к этой мысли, как неожиданно открылась боковая дверь, и я услышал голос Сталина:

— Здравствуйте, товарищ Брэжнев! Заходите ко мне!

Я только и успел сказать:

— Здравствуйте, товарищ Сталин.

Повинуясь приглашающему жесту Иосифа Виссарионовича, я прошел в его кабинет. Помещение было большим, но не несло ни малейших следов роскоши. Скорее тут царила деловая, рабочая обстановка. Высокие потолки с лепниной, оставшейся, видимо, еще с царских времен, два больших окна, выходящих на Ивановскую площадь, длинный стол для заседаний, покрытый зеленым сукном, с рядом простых деревянных стульев. Вдоль стены — высокие, до самого потолка, книжные шкафы из темного дерева, забитые книгами вперемешку с бесчисленными папками и скоросшивателями. На стенах — несколько больших карт: карта СССР, карта Европы, усыпанные пометками и флажками. И, чуть в стороне, рабочий стол — массивный, из темного дуба, тоже заваленный бумагами, книгами, стопками папок. На столе —

несколько телефонов, пресс-папье из зеленого камня, письменный прибор, небольшая настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром, и… папка. «Личное дело. Брежнев Леонид Ильич. Член КСМ с 1923 г.».

Сталин встретил меня стоя. Он был в сапогах и френче и, пожалуй, только этим и был похож на того, каким его изображали. Ростом он был сильно ниже меня и, к тому же, довольно сутуловат, а вовсе не высок и строен, каким его изображали на уже красовавшихся повсюду портретах. Мало помогало ему и то, что, как я заметил, каблуки его сапог были непомерно высоки. Лицо его было не гладкое, как он выглядел на портретах и даже на фотографиях, а грубо рябое, все изрытое большими оспинами. Глаза вовсе не большие, а скорее маленькие, желтоватые, как у степного волка, внимательные, прятавшиеся в узкие щелочки. Волосы и усы неестественно черного цвета блестели и, хотя ему тогда не было и пятидесяти, он явно их красил.

Впрочем, с тех пор как я видел его, он не особенно изменился.

Пожав мне руку, Сталин предложил:

— Садитесь и курите. На меня не смотрите, я сидеть не люблю.

Тут же он достал из кармана френча коробку папирос «Герцеговина Флор», вынул из нее две штуки, отломил от картонных мундштуков табак и, высыпав его в трубку, закурил.

— Что же не закуриваете? — спросил он меня, прохаживаясь по комнате.

— Я не курю, товарищ Сталин! — сиплым от волнения голосом выдавил я из себя.

Продолжая свои манипуляции с трубкой, Сталин чиркнул спичкой, раскурил ее и, выпустив несколько густых сизых клубов дыма, продолжил:

— Ну, раз не курите, тогда рассказывайте по порядку.

Он остановился напротив меня, резко посмотрел в упор тяжелым, властным взглядом.

— Рассказывайте, как ви, Леонид Ильич, — его негромкий голос вдруг стал ледяным, — взялись поучать ЦК, как партии большевиков, в которой вы еще даже нэ состоите, следует проводить национальную политику? Письма пишэте… о «перегибах». Скажыте, кто вам давал такое право? Ви что, считаете себя умнее Центрального Комитета? Или, может, — его голос стал еще тише, но от этого еще более зловещим, — ви с теми, кто занял антипартийную линию, решили проявить солидарность? С товарищами Троцким, с Зиновьевым и Каменевым? Думаете, мы не видим, кто у вас там мутит воду?

Я судорожно сглотнул, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Взгляд Сталина был подобен рентгену, казалось, он видел меня насквозь, все мои страхи, все мои расчеты. Но отступать было поздно. Нужно было выкручиваться, сделав все так, чтобы он поверил. Или, в крайнем случае, счел меня полезным!

— Товарищ Сталин, — начал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно, хотя внутри все дрожало от напряжения. — Никаких мыслей проводить антипартийную линию у меня не было и быть не могло! Я — комсомолец, воспитанный на победах нашей партии, и предан ей всем сердцем. А письмо это было продиктовано исключительно заботой о деле, о том, чтобы избежать ошибок, которые могли бы навредить нашей работе на местах…

— Ошибок? — перебил Сталин, и в его голосе прозвучала ледяная ирония. — Значит, ЦК партии, по-вашему, совершает ошибки, а ви, молодой комсомолец из Харькова, их исправляете? Смело, таварищ Брэжнев, очень смело. Может, вам сразу в Политбюро, а нас, стариков, всех гнать отсюда?

Он усмехнулся, но от этого мне стало еще хуже. Я все подробно расписал в том письме. Но, судя по всему, объяснения не помогают! Нужно показать свою преданность, готовность исправиться. И, возможно, вернуть в голову вождя мысль о том, что я все же могу быть полезен!

— А вэдь я вас помню, Леонид! — будто бы издали донесся до меня голос Сталина. — Ви тогда говорили со мною на перроне в Синэльниково, а затэм писали письма. В то время совсем мальчишкой были. Шустрый такой, глаза горэли. Сильно изменились с тех пор. Возмужалы!

Мысли вихрем пронеслись в голове, унося меня на семь лет назад, в мой родной город, только что освобожденный от деникинцев.

***

…Победа пришла внезапно, как это часто бывало в ту суматошную пору. Еще вчера на улицах нашего Каменского маршировали самоуверенные офицеры-дроздовцы в своих щегольских мундирах, проносились ингушские всадники генерала Слащева в черкесках и косматых папахах, а сегодня утром город проснулся от грохота артиллерийской канонады и треска пулеметных очередей. Красные части 14-й армии Южного фронта после нашего скромного, но, как оказалось, весьма полезного «подарка» в виде крушения бронепоезда «Дроздовец», перешли в решительное наступление. Белые, лишившиеся своей бронированной крепости на колесах, не смогли удержаться на позиции и спешно бежали, оставив город. Вскоре пал и Екатеринослав.

Уже к полудню все было кончено. По улицам городка, громыхая колесами орудий и тачанок, в Каменское зашли усталые, заснеженные красноармейцы в своих потертых, разномастных шинелях и буденовках со звездами. Лица у них были обветренные, суровые, но в глазах светилась радость победителей. Прошел целый отряд красных китайцев, проехали конные эскадроны, на станции пыхтел паром бронепоезд «Советская Россия». Жители, поначалу опасливо выглядывавшие из-за закрытых ставен, постепенно выходили на улицы. Кто-то встречал красных с радостью, нес хлеб, кто-то — сдержанно, выжидательно. Город, измученный сменой власти, погромами, голодом и страхом, замер в ожидании.

На следующий день на самой просторной площади Каменского, той самой, где полгода назад проходил деникинский парад, был назначен митинг. Командующий армией, командарм Уборевич, решил, судя по всему, не только вдохновить народ, но и перейти к новой, твердой власти.

Площадь была заполнена народом. Рабочие с Днепровского завода, в тулупах и полушубках, женщины в душегрейках и пестрых платках, старики и, конечно, мы, мальчишки, — Гнатка Новиков, Костик Грушевой, я, — протолкавшиеся поближе к наскоро сколоченной из досок трибуне. На ней уже восседали военные в кожаных куртках, с маузерами в деревянных кобурах и красными звездами, и среди них — несколько местных жителей, видимо — новый актив Каменского ревкома.

Митинг открыл член Реввоенсовета 14-й армии Семен Иванович Аралов. Высокий, худощавый, с энергичным, немного нервным лицом и глазами, пронзительно блестевшими из-под густых бровей. Он говорил громко, страстно, выбрасывая вперед руку, как будто рубя воздух. Голос его, усиленный жестяным рупором, гремел над площадью.

— Товарищи рабочие и крестьяне города Каменского! — начал он, и толпа на мгновение затихла, внимая каждому слову. — Великая Красная Армия, несокрушимая и легендарная, оплот рабочего класса и надежда всех эксплуатируемых, принесла вам освобождение от ига белогвардейских наймитов, иностранных интервентов, помещиков и капиталистов, от всех тех, кто паразитирует на теле нашей Родины, кто пьет вашу кровь и пот! Победа наша неотвратима, как восход солнца! Пламя мировой революции, зажженное в России, уже вскоре воссияет на весь мир! Скоро, очень скоро, трудящиеся всех стран сбросят оковы рабства и построят светлое царство труда!

Он долго говорил о мощи Красной Армии, о ее героических полководцах, о неизбежности победы над мировым империализмом. Слова были знакомы, я их уже слышал и от красных, и от петлюровцев, и даже от махновцев — каждый обещал свое «светлое будущее». Но в голосе представителя Реввоенсовета звучала такая непоколебимая уверенность, такая фанатичная вера в своих словах, что ему нельзя было не верить.

— Отныне и навсегда в Каменском установлена твердая революционная власть! — продолжил Аралов. — Власть Советов рабочих и крестьянских депутатов! Никакого снисхождения врагам революции! Никакой пощады контрреволюционной гидре!

Он представил нового коменданта города — сурового, молчаливого человека с обветренным лицом и шрамом через всю щеку. Объявил о восстановлении Ревкома, зачитал имена его сотрудников — в основном незнакомых, пришлых, но были и несколько местных, из рабочих активистов. Затем он достал из планшета длинный список и начал зачитывать фамилии тех, кто снимался с должностей, подлежал аресту за «пособничество врагу» и «контрреволюционную деятельность». Список был длинным, и начинался он с имен управляющих Днепровским заводом. Я видел, как бледнели лица людей в толпе, как они старались незаметно уйти. Новая власть пришла всерьез и надолго, и она определенно не собиралась шутить.

После этой суровой, почти зловещей части Семен Иванович закончил выступление. Теперь вперед вышел молодой высокий военный в очках, с резким, немного неприятным лицом.

— Теперь перед вами выступит командарм 14-й армии, товарищ Уборевич! — произнёс Аралов, покидая трибуну.

Я был потрясен. Так вот он какой, красный командарм Уборевич! Возглавляет армию в десятки тысяч штыков, а самому, на вид, лет двадцать — двадцать пять!

Тем временем командарм начал говорить. Видно было, что публичные выступления — не его стезя: произнося речь перед таким множеством людей, он явно чувствовал себя скованно и неловко. Сначала речь шла, как всегда, о победе Мировой революции и прочие общие фразы; но затем командарм перешел к другой части своего выступления и в его голосе появились почти искренние сердечные нотки.

— Революция, товарищи, не только карает врагов, она и щедро награждает своих героев — тех, кто, не щадя своей жизни, боролся за ее победу!

Тут он начал зачитывать другой список — список отличившихся. Сначала шли фамилии командиров и бойцов его армии, тех, кто первыми ворвался в город, кто проявил мужество и отвагу в боях. Затем — имена нескольких местных партизан, помогавших красным. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, я услышал:

— …а также юных героев города Каменского, наших верных помощников, которые, несмотря на свой молодой возраст, впитали истинный революционный дух и внесли свой вклад в разгром врага! Да, такие есть среди вас. Это, — тут Уборевич скосил глаза в бумажку, — Брежнев Леонид! Новиков Игнатий! Грушевой Константин!

У меня перехватило дыхание. Сердце заколотилось так, что, казалось, выскочит из груди. Нас? Награждать? Вот это да!

Вдруг на плечо мне легла тяжелая рука. Оглянувшись, я увидел улыбающегося Свиридова — того самого, с которым мы готовили диверсию против «Дроздовца».

— Иван Евграфович! — обрадовался я. — Так ты про нас уже доложил «куда следует»?

— Пойдёмте, ребята! Представлю вас командарму! — усмехаясь в пушистые усы, Свиридов повел нас сквозь толпу к президиуму.

— Вот они, эти хлопцы! — произнес он, подходя к Семену Аралову.

— Очень кстати! Подойдите сюда, товарищи! — Аралов, радостно нам улыбнувшись, крепко пожал каждому руку. Мы, смущенные, растерянные, подталкивая друг друга, поднялись на трибуну.

— Вот она, товарищи, наша молодая смена! — провозгласил он, обращаясь к площади. — Наша надежда и опора! С такими орлятами мы построим коммунизм!

Затем он повернулся ко мне.

— Товарищ Брежнев, решением Реввоенсовета армии, за проявленную смелость и находчивость в борьбе с белогвардейской армией вы награждаетесь… — он сделал паузу, и кто-то сзади подал ему небольшой, завернутый в промасленную бумагу сверток. Аралов развернул его. В его руке блеснул вороненой сталью наган, — …наградным оружием!

И протянул револьвер мне. Тяжелый, холодный. Настоящее оружие!

— Погоди, парень, я сейчас разрешение выпишу. Эй, Митрюков, дай-ка осьмушку бумаги! — добродушно проговорил Аралов, и прямо здесь же, на митинге, химическим карандашом написал:

«Герою Гражданской войны Леониду Брежневу от РВС 14-й армии выдано наградное оружие — наган 1916 г.в. Член РВС Аралов. 02.01. 1920 г.».

Я стоял, как во сне, держа в руках эту символическую власть и признание, и не верил своим глазам. Наган! Настоящий, боевой! Это было больше, чем просто награда. Это — пропуск в другую жизнь.

Толпа взорвалась аплодисментами и одобрительными криками. Гнатке и Костику тоже вручили подарки — Гнатке, отрез хорошего сукна, а Костику — новые сапоги, о которых он давно мечтал. Мы стояли на трибуне, оглушенные, счастливые, и чувствовали себя настоящими героями…

Домой я летел как на крыльях. Наган, завернутый в тряпицу, тащил за пазухой тулупчика, с удовольствием чувствуя его приятную тяжесть. Но отец встретил меня нерадостно. Он сидел за столом на кухне, хмурый, осунувшийся. Мать молча поставила на стол чугунок с картошкой. Я напрягся — опять сейчас начнется!

И действительно. Только начал я есть, отец, посмотрев на меня тяжелым, недобрым взглядом, процедил в начинающие седеть усы:

— Ну что, герой? Опять в политику лезешь? Мало тебе было? А если опять белые повернутся, а? Что тогда с нами со всеми будет, а? Подумал об этом? Из-за твоих этих… героических действий… всю семью под монастырем подведешь! Ладно бы ты потихоньку свои дела крутил, а то ведь — прямо на площади, пред всем народом тебя ославили! Вернется Деникин — что делать будем, а?

Я знал, что он прав по-своему. Он боялся — за нас, за семью. Он уже натерпелся от всех этих властей, которые меняли друг друга, как картинки в калейдоскопе, и оставляя после себя разруху, грабежи и смерть. Но я-то знал то, чего не ведал ни мой отец, ни кто-то еще.

— Не вернутся они, бать, — твердо ответил я, глядя ему прямо в глаза. — Красные пришли навсегда.

Отец еще больше помрачнел. Он поднялся из-за стола, подошел ко мне плотную. Я видел, как желваки ходят на его скулах.

— Эх, Ленька, Ленька… — произнес он тяжело. — Выпороть бы тебя хорошенько, как в детстве, чтобы дурь-то из головы выбить! Да как же к теперь к тебе подступиться-то… — он горько усмехнулся, — ты же у нас при оружии теперь. Ты нонече — влаасть!

Он махнул рукой и ушел в сени, сворачивая самокрутку. Я понял, что между нами пролегла еще одна невидимая трещина. Он еще жил прошлым, а я уже шагнул в будущее. И это будущее несомненно связано с этой новой, жестокой, но, увы, единственно возможной властью. А наградной наган был моим первым шагом на этом пути.

Миновала зима девятнадцатого-двадцатого годов. Зима, принесшая Красной Армии громкие, решающие победы. Был окончательно разгромлен Деникин на Юге, его остатки бежали в Крым, где их возглавил барон Врангель. На Востоке пал режим Колчака, причем самого «верховного правителя» расстреляли в Иркутске. Действительно, Гражданская война близится к концу. Но весной двадцатого года грянула новая беда — война с панской Польшей. Пилсудский, мечтавший о «Польше от моря до моря», ударив по ослабленной Украине, занял Киев. Снова потянулись на запад эшелоны с красноармейцами, снова зазвучали на митингах призывы «Все на борьбу с белополяками!».

Тем не менее наша жизнь в Каменском потихоньку входила в мирное русло. Днепровский завод почти не работал — не было ни сырья, ни топлива, да и рабочие разъезжались, кто куда. Открылись школы, в том числе и моя бывшая гимназия, снова ставшая «единой трудовой школой второй ступени». Я, конечно, опять сел за парту, наверстывая упущенное. В нетоп-

ленных классах учеба шла тяжело — многие посещали школу лишь ради пустых, но горячих щей. И была еще одна тревога, которая с каждым днем становилась все сильнее. Зима в тот год выдалась на удивление малоснежной, а весна пришла ранняя, сухая и ветреная. Солнце палило не по-апрельски жарко, земля быстро высохла, потрескалась. Дождей же почти не было: так прольется несколько капель, пыль прибьет, и снова — суховей.

Мать, Наталия Денисовна, все чаще с тревогой поглядывала на небо, вздыхала.

— Ох, Леня, чует мое сердце, недоброе это лето будет, — говорила она, когда мы сидели вечером на кухне. — Снегу не было, дождей нет… Земля сухая, как порох. Все приметы — к засухе. Как бы голод опять не начался, не дай Бог!

Ее слова тяжелым камнем падали в мою душу. Я-то прекрасно помнил, что действительно, в это время произойдёт страшный голод, особенно — в Поволжье. Мы, конечно, живем не на Волге, а на Днепре, но год все равно простым быть не обещает. Отец, Илья Яковлевич, обычно не одобряющий все эти «бабьи толки», тоже хмурился, качая головой.

— Да, Наташа, права ты, — соглашался он. — Старики говорят, такая сушь к большому недороду. На заводе уже идут разговоры, что с провиантом у нас туго будет. При большевиках-то не забалуешь: что по карточкам положено, то тем и жив будь. А чего-там с карточек-то проку? Муку по карточкам и так еле-еле выдают, а что дальше будет — неизвестно!

Дед Денис, старый луганский казак, знающий толк в крестьянских приметах, тоже качал большой седой головой:

— Да уж, не к добру все это. Птица низко летает, трава не растёт, скотина худая… Плохо дело, внучек. Очень плохо. Если небо не сжалится, не пролетит дождичка, будь беде великой.

Даже мой друзья, обычные беззаботные мальчишки чувствовали эту нависшую над всеми опасность. Днепр, обычно полноводный и мощный, заметно обмелел, обнажая песчаные косы. Пыль висела над городом вертикальным столбом, забиваясь в нос и в горло, скрипела на зубах. На уроках в школе пожилой учитель географии с умным видом рассказывал нам о циклонах и антициклонах, как о причинах засухи. Но его научные объяснения мало утешали. Мы видели сухую, растрескавшуюся землю, иссохшие ручьи, чахлые всходы на огородах и понимали — природа готовит нам тяжелое испытание. В городе чаще всего можно было увидеть очередь за хлебом, за керосином, за солью. Рынок снова отменили, но люди все же торговали «из-под полы», однако цены там росли не по дням, а по часам. Начались разговоры о продразвёрстке, о том, что у крестьян будут собирать последний хлеб для нужд армии и голодающих городов.

Тревога витала в воздухе, густая, как пыль от суховея. И я, тринадцатилетний мальчишка с наградным наганом за пазухой и слабым знанием будущего в голове, чувствовал себя песчинкой в этом надвигающемся урагане. Я мог бы предвидеть беду, но как ее предотвратить? Как помочь своим близким, своему городу, своей стране? Эти вопросы не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Я понимал, что начинается настоящая, взрослая жизнь, полная опасностей и ответственности. И от того, какие решения я буду принимать, зависит не только мое будущее, но и будущее всех тех, кто был мне дорог.

Глава 2

Заканчивалась весна, приближалось лето, а жара в Каменском была такая, будто давно уже на дворе стояла середина июля. Злое, раскаленное добела солнце палило нещадно с самого утра, как будто хотело выжечь все живое на этой многострадальной земле.

Вода сильно спала, обнажив прибрежные коряги, плавник и широкие песчаные косы, похожие на ребра умирающего великана. Вода уже была по-летнему теплая, начинавшая «цвести» от жары, и старые рыбаки, качая головами, говорили, что рыбы в этом году, вернее всего, не будет.

Огороды, уже который год выручавшие жителей Каменского, производили печальное зрелище. Картошка, посаженная еще в середине апреля, взошла чахлыми, желтоватыми ростками и тут же начала вянуть, скручивая листочки. Морковка и буряк, посеянные с такой надеждой, и вовсе не показывались из растрескавшейся, как древесная кора, земли. Капустная рассада, которую мы с Верой и Яшкой поливали из старых, дырявых леек, несмотря на все наши старания, скручивалась в трубочки и сохла на корню.

— Ох, беда, Лёня, беда будет, — снова и снова вздыхала мать, глядя на наш засыхающий огород. Ее лицо, обычно миловидное и живое, выглядело озабоченным и усталым. — Если дождей не будет прямо сейчас — сгорит урожай, и хлеб на полях, и все сгорит!

Между тем, кушать-то хотелось уже сейчас, в мае. Отец получал рабочий паек — он снова ходил на завод, где авральным порядком мастерили еще одни бронепоезд, теперь уже для польского фронта. Однако муки по его карточкам давали все меньше, да и та была серой, сыроватой, с примесью куколя и спорыньи. Овощей своих не было. Вся надежда оставалась на рыбалку, которой мы с друзьями отдавали теперь все свободное время. Увы, в такую жару рыба действительно ловилась плохо. И все же мы продолжали ее ловить: авось, да что-нибудь и клюнет. Хоть мелкая плотвичка, хоть ерш, хоть пескарь — и то подспорье.

Но главной проблемой была вода. Единственная водоразборная колонка на нашей улице вновь не работала — во время декабрьских боев водокачку окончательно доломали. Оставалось таскать воду с Днепра. Но таскать ведрами на себе по крутому спуску, под палящим солнцем — дело тяжелое и неблагодарное, особенно для матери, у которой и без того дел — пруд пруди.

Стал я думать, что делать, и вот тут-то мне в голову и пришла идея. У нас во дворе под старой, наполовину высохшей грушей, стояла большая дубовая бочка, в которой раньше дедушка Денис солил на зиму огурцы. Теперь она была не востребована и просто рассыхалась под палящим солнцем. А что бы ее не применить в дело?

— Бать, — сказал я отцу вечером, когда он, усталый, чумазый, пропахший машинным маслом и горелым металлом, вернулся с завода. — А что если эту бочку на колеса поставить? Сделать такую, ну, водовозку. Налили бы сразу много воды на Днепре, привезли — и поливай себе на здоровье. Да и не только себе!

Илья Яковлевич поначалу от меня отмахнулся, как от назойливой мухи.

— Выдумки все это, Ленька. Глупости. Делать мне больше нечего, как тебе игрушки мастерить. И так на заводе урабатываюсь, с ног валюсь!

Но я не отставил. В воображении я уже видел: скоро, как заправский водовоз, покачу я ее по улице, под завистливыми взглядами соседей. И в выходной день я вновь подступил к нему:

— Ты подумай, бать — ведь это сплошные выгоды! И огород спасем, и матери будет легче, не придется ей таскаться с тяжелым коромыслом. Ведь если будет неурожай — карточки твои могут превратиться в пустые бумажки: не найдут тебе коммунисты хлеба, да и весь сказ. А огород — он ведь завсегда свое даст: не будет хлеба, хоть на бульбе с цибулей проживем!

Да и соседям можно будет привезти воду — не за так, конечно. Копейка к копейке — так на прожитьё и наскребем!

Отец, почесал в затылке густые черные волосы, уже тронутые сединой у висков. Вероятно, идея ему тоже пришлась по душе: он и сам он видел, как гибнет наш маленький огород, наша последняя надежда на не голодную зиму.

— Ладно, — решил он наконец, и в его уставших глазах мелькнул огонек интереса. — Попробуем. Металла, правда, сейчас днем с огнем не сыщешь, все на нужды фронта идет, на бронепоезда эти проклятые. Но, может быть, какие-то ножи на заводе останутся. А колеса… колеса — это задачка. Где ж их взять, колеса-то?

Задача решилась неожиданно быстро. Гнатка Новиков где-то на задворках станции, в зарослях бурьяна, раздобыл два вполне еще крепких тележных колеса — видимо, от какой-то повозки, брошенной при отступлении то ли белыми, то ли красными — кто их там теперь разберет… Факт тот, что ободья ее были железные, хоть и ржавые, спицы — дубовые, крепкие, хоть и рассохшиеся местами. Отец притащил с завода несколько досок и железных уголков — остатки от какого-то старого заказа.

Несколько вечеров мы с ним колотили раму для бочки. Пилили, строгали, подгоняли… ругались на чем свет стоит. Я старался, чем мог, быть полезен: держал, подавал, бил гвозди, пилил, крутил ручку коловорота. Наконец мы сколотили прочную, тяжелую раму, усилили ее уголками, приладили ось, выточенную знакомым токарем на заводском станке, насадили колеса, водрузили на эту раму нашу бочку, укрепив ее старыми железными обручами. Получилось нечто громоздкое, тяжелое, неуклюжее, скрипучее, но, как показала первая же проба, вполне работоспособное. Я назвал это сооружение «водовозочкой», и страшно гордился своим изобретением.

И вот, в один из таких жарких майских дней, после уроков в школе, мы с Гнаткой и Костиком Грушевым, впрягшись в «водовозочку», отправились к Днепру.

Солнце стояло еще высоко, припекало немилосердно. Пыль, поднятая нашими босыми ногами, тут же оседала на потной коже. Мы влачили нашу повозку по усыпанному легким тополиным пухом Банному спуску, мимо покосившихся, вросших в землю хат Нижней колонии. В животе урчало, как в пустой бочке.

За пазухой у меня, как всегда, лежал мой наградной наган. Я почти не расставался с ним с того самого дня, как мне его вручили на площади, полюбив носить его с собой. Тяжелый, холодный, он приятно оттягивал рубаху и дарил мне какую-то особую уверенность в себе. Разумеется, сразу после обретения такого подарка я изучил его со всех сторон. Это была «офицерская», самовзводная модель; правда, попробовав его крайне тугой спуск, я понял, что стрелять без взведенного курка для меня означает нулевой шанс на попадание, по крайней мере — в цель меньше белого носорога. Конечно, я не собирался из него палить без необходимости, да и патронов у меня было всего несколько штук, которые я берег как зеницу ока. Но само его наличие согревало душу, делало меня как бы неуязвимым. Разумеется, все окрестные мальчишки знали о нагане и смотрели на меня с лютой завистью и исключительным уважением.

Наконец мы добрались до берега Днепра, где сидели флегматичные рыбаки. Только мы наладились было набрать воды, как нас осадили:

— Гей, хлопци, катитесь отсель, и так рыба не клюеть! — проворчал мрачный верзила в засаленной, выгоревшей на солнце кепке, сидевший на «нашем» месте с тремя самодельными удочками. Не став спорить, я направил нашу колесницу дальше, к другому удобному съезду.

— Вот жлоб! — возмутился Коська. — Нет бы, свернул удочки да пересел куда-нибудь, раз и так у него тут не ловится ничего! Ему — всего лишь зад поднять, а нам теперь волочить эту арбу лишних сорок сажен!

— Эх, хоть бы пару карасиков поймать, — мечтательно протянул Гнатка, завистливым взглядом проводив рыбаков. За последний год он здорово вытянулся, и теперь, длинноногий, худой, с вечно голодными глазами и торчащими скулами, напоминал мне недокормленного волчонка. — Мамка бы уху сварила… С лучком, с бульбой…

— Карасики… — хмыкнул Коська. — Тут бы хоть пескаря какого зацепить, и то радость. Или плотвичку. Я вчера видал, как старик Макар вытащил окуня с ладонь. Говорит, самая крупная рыба, что взял в этом году! А ведь мы тут и щуку ловили, и сомов…

Наконец, подойдя к берегу, где Днепр сделал небольшой изгиб, образуя тихую заводь, пыхтя и чертыхаясь, набрали воды, и, впрягшись, поперли бочку обратно, как вдруг услышали впереди какой-то шум: отчаянный плач, грубую мужскую ругань, топот ног.

Мгновение, другое, — и нам навстречу выскочил мальчишка лет десяти. Босой, в рваной, выцветшей рубашке, держащейся на одном плече, и таких же штанах, перевязанных вместо пояса бечевкой. Он бежал, не разбирая дороги, с ужасом в широко открытых глазах. А за ним, тяжело дыша и изрыгая проклятия, гнался тот самый бугай, что рыбачил на берегу.

— Стий, зараза! Стий, покажу, бо вбью, гаденя! Догоню — вси кости переломаю! — ревел мужик. Мальчишка, увидев нас, метнулся в сторону, к воде, но рыбак настиг его у самого уреза воды, схватил за шиворот и с силой начал трясти.

— Ах ти ж, падлюка мала! Украсти надумал, так?! Попавшись, злодюга! — и он от души врезал пацану ногою по ребрам, да так, что тот отлетел в сторону на пару шагов.

— Эй ты, дядька! Не трогай! Что ты делаешь?! — закричал я, подбегая и инстинктивно хватаясь за рукоять нагана под рубахой.

Мужик обернулся. Его маленькие, глубоко посаженные глазки горели яростью.

— А вам каке дело, шмаркачи? Не лезьте, куда не проситься, бо й вам перепаде! Он у меня рыба вкрале! Останню!

Он снова замахнулся ногой на мальчишку, который сжался в комок на земле, закрыл голову худыми, грязными руками и тоненько, жалобно всхлипывая, как щенок.

Тут уж мы не выдержали. Гнатка и Костик, как по команде, навалились на мужика с боков, пытаясь оттащить его от мальчишки.

— Та що ж вы делайте, бісові дети! — рычал он, отбиваясь локтями. — Пустить, покажи! Я его зараз навчу, як чужой брат!

Он был сильным, как бык, и легко раскидал бы нас поодиночке, но втроем мы кое-как его держали.

— А мы милицию позовем! — пригрозил Костик, самый голосистый из нас, хотя никакой милиции поблизости, конечно, не было. — За избиение малолетних знаешь, что будет? В каталажку загремишь!

Упоминание милиции, судя по всему, немного подействовало. Мужик перестал так яростно вырываться, но злоба в его глазах не поубавилась.

— Что это за милиция? — прохрипел он, тяжело дыша и отдуваясь. — Та вы знаете, сколько я ту рыбу ловит? Вин у меня остался заслуженным! Я целий ранок сидев, як дурень, одну нещасну рыбину спиймав, дитям додому нести, а это стерво… — Он злобно плюнул в сторону мальчишки. — Из ведра витяг, падлюка, пока я снасти сбирав!

Он вырвал руку одну и снова замахнулся на мальчишку.

Тут я не выдержал, и выхватил наградной наган. Вороненая сталь холодно блеснула на солнце. Красноречиво щелкнул взведенный курок.

— А ну, отставить!

Голос мой прозвучал неожиданно твердо и громко, даже для меня самого.

— Еще раз тронешь его — стрелять буду! Понял?

Мужик замер. Его глаза расширились, уставившись на револьвер в моей руке. Злоба на его лице сменилась сначала удивлением, а потом испугом. Он, видимо, не ожидал такого поворота. Одно дело — связываться с босоногими пацанами, и совсем другое — когда на тебя наставлено боевое оружие. Пусть даже в руках подростка.

— Ти… ти що, малий, здурив? — проблеял он, отступая на шаг. — Зброю на людей направляти? Та я…

— Я не шучу, — отрезал я, стараясь, чтобы рука с наганом не дрожала. — Отойди от него. И скажи толком, что случилось.

Мужик еще раз покосился на наган, потом на мальчишку, который все еще лежал на земле, но уже закончил плакать и с любопытством и страхом смотрел на меня.

— Та рыбу вин у меня вкрав, — уже не так уверенно пробурчал он.

Действительно, из-под рваной рубашки пацана торчал хвост небольшой, размером с ладонь, серебристой рыбешки — плотвички или уклейки. Жалкая добыча!

— Вот, бачите? — Мужик ткнул пальцем в рыбешку. — Моя! Я изловив! В тюрму б його, паразита!

Он протянул руку, выдернул рыбешку из-за пазухи мальчишки, брезгливо отряхнул ее от пыли и сунул себе в глубокий карман телогрейки.

— Ну, тепер все, — пробурчал он, все еще тяжело дыша и искоса поглядывая на мой наган. — Щоб я тебе тут больше не бачив, поганцю! Бо следующего раза не подивлюсь, чо малий, и николи тобе не допоможет.

Он еще раз злобно зыркнул на нас, сплюнул на землю и, натянув до самых ушей кепку, торопливо зашагал прочь, к своим удочкам, видимо, решив не искушать судьбу.

Мы остались с мальчишкой. Тот медленно поднялся на ноги, отряхивая от себя пыль. Он все еще дрожал, но уже не плакал.

— Ну, чего дрожишь? Живой ведь, — сказал я, опустив наган и пряча его обратно за пазуху, чувствуя, как медленно уходит нахлынувший в кровь адреналин. Руки еще немного тряслись от пережитого напряжения. — Как тебя зовут?

Мальчишка поднял на меня заплаканные, дрожащие, но уже с искоркой любопытства глаза. Худенький, грязный, одни кости да кожа, ребра торчат из-под рубашки, как стиральная доска. На него было больно смотреть. Голод…

— Митька… — прошептал он чуть слышно.

— Ну вот что, Митька, — сказал я, стараясь говорить, как можно мягче, хотя внутри все еще кипело от гнева. — Рыбу воровать — это ты брось. Пропадешь не за понюх табаку! Но и бить за это так нельзя. Пойдем с нами. Может, и тебе чего перепадет на удочку. Авось, на всех хватит. Голодный, небось?

Митька поднял на нас заплаканные, красные, опухшие глаза, в которых еще плескался недавний ужас. Губы его дрожали.

— Он… он бы меня убил… — прошептал он, снова всхлипывая и судорожно икая. — Я… я не хотел! Я просто дюже голодный!

— Знаем, знаем, — произнес Гнатка, мрачно глядя на свои босые, запыленные ноги. — Сами такие. Не ты один. Ну, пойдем, что ли? До хаты тебя отвести? Ты где живешь-то, герой?

При слове «хата» Митька вдруг зарыдал, да так горько и безнадежно, что нам стало не по себе.

— Нет у меня дома… — сквозь слезы, с трудом выговаривая слова, проговорил он. — Никого у меня нет… Совсем один…

Мы переглянулись. Это было уже серьезно. Одно дело — уличный сорванец, стащивший от голода рыбешки, и совсем другое — бездомный сирота.

— Как это нет? — удивился я, чувствуя, как внутри что-то неприятное похолодело. — А родители где? Мама, папа?

Митька вытер грязным рукавом рубашонки нос и заговорил. Из сбивчивых его объяснений вырисовалась совершенно нерадостная картина.

Сам он был из деревни, верстах в тридцати от Каменского, вверх по Днепру. Называлась она вроде Вербовка. Жили они небогато, как и все в деревне, но и не голодали — свой огород, тощая корова-кормилица, куры во дворе. А потом началась война, и, как водится, понеслось. Сначала пришли красные, забрали отца в армию. Сказали — бить буржуев и восстанавливать справедливость. Отец, крепкий, работающий мужик, обнял его на прощание, велел слушать мать и ушел. Больше Митька его не видел. Потом, когда Деникин наступил, в их тихую, затерянную в степи деревню ворвались белые. Не те, которые благородные офицеры из книжек, какие-то дикие, бородатые, в мохнатых папахах и черкесках, из «дикой дивизии», как их шепотом называли в деревне. Они грабили, убивали без разбора, насиловали женщин. Мать его, молодую еще, красивую, они избили, изуродовали, а потом… Митька замолчал, и по его щекам снова покатились большие, тяжелые слезы. От побоев и невыносимого горя мать вскоре и померла, и остался Митька один-одинешенек на всем белом свете.

Соседи, поначалу, жалели его, сироту. Подкармливали чем Бог пошлет. Но потом и у них стало туго. Озимые вымерзли под тонким, как марля, снежным покровом, а потом засохли, сожженные безжалостным солнцем. Яровые, посеянные в сухую, растрескавшуюся землю, так и не проклюнулись. В деревне уже тогда, в апреле, поняли — быть голоду. А в такое время — кому есть дело до чужого сироты, когда их дети плачут от голода?

— Дядько Петро, сосед наш, — рассказывал Митька, шмыгая носом и вытирая слезы тыльной стороной поворота, — мне раньши хлиба давав, такой добрый був… А теперь каждый раз: «Иди, Митько, куда очи дивляться. У мене самого дити голодныи».

И Митька пошел «куда глаза смотрят». Разумеется, в ближайший город. Ему, как и многим деревенским мальчишкам, казалось, что в городе жизнь сытнее, можно найти работу, прокормиться. Но и тут он никому не нужен. Ночевал, где придется — в брошенных домах, поврежденных артобстрелом, под перевернутыми лодками на берегу, зарываясь в старое, прелое сено. Пил теплую, мутную воду из Днепра. А вот с едой было совсем плохо. Попрошайничая, много не добудешь — кто теперь подаст, когда каждый кусок хлеба на счету? Работы не было и для взрослых мужчин, не то что для десятилетних мальчишек. Вот и дошел до воровства.

— Ладно, Митька, — сказал я, когда он закончил свой грустный рассказ. — Не плачь, слезами горю не поможешь. Что-нибудь придумаем.

— А что мы можем сделать? — растерянно спросил Костик, ковыряя босой ногой сухой землей. — К себе его не возьмешь, у самих дома — шаром покати, мамка и так не знает, чем нас кормить.

— Может, в детский дом его пристроить? — предложил Гнатка.

— А это мысль! — обрадовался я. — Детский дом — это тема! Пойдем, Митька, отведем тебя туда. Там и накормят, и оденут, и в школу будешь ходить.

Митька робко поднял на меня глаза, в которых мелькнула слабая искорка надежды.

— А там драться не будут? — с опаской спросил он.

— Да что ты, — усмехнулся я, стараясь делать вид, что верю в свои слова. — Там хорошие тети работают. Все будет хорошо, вот увидишь!

Конечно же, я догадывался, что жизнь в детдоме времен Гражданской войны — нифига не сахар. Но нужно было как-то успокоить пацана, дать ему какую-нибудь надежду.

Мы решили отложить полив на потом, теперь важнее было пристроить Митьку. Я взял его за худенькую узкую руку, пахнущую рыбой, и мы зашагали в город, к управе, в которой помещался ревком.

Местная власть располагалась все в том же старом, двухэтажном здании — бывшем купеческом особняке, покрытом облупившейся желтой штукатуркой со следами от пуль и пыль-

ными, засиженными мухами окнами. После нескольких месяцев у власти большевики больше не ставили у входа часового, так что попасть внутрь не было проблемой.

Внутри было шумно, пахло типографской краской и махорочным дымом. По темным, крытым скрипучим паркетом коридорам сновали люди с обеспокоенными, усталыми лицами в потертых кожаных куртках, выцветших гимнастерках. Тут же было и несколько служащих-женщин в ситцевых платьях.

— Извините, граждане, а где найти отдел призрения беспризорных? — спросил я у первого попавшегося совслужащего, лысеющего товарища с пышными усами.

— Вам к Фотиевой, крайний кабинет справа! — ткнул он рукой в нужную сторону и заспешил дальше по своим канцелярским делам.

Мы без труда нашли нужный кабинет — узкую как гроб комнату с одним окном, выходившим во двор, где пышно цвела акация. За столом, заваленным кипами бумаг, сидела женщина неопределенного возраста, с бледным, невыспавшимся лицом, в простом ситцевом платье, с небрежно повязанной красной косынкой на голове. Она что-то быстро писала, макая перо в чернильницу-непроливайку. Митька забоялся заходить и остался на улице, так что зашли лишь мы втроем.

— Вам, чего ребята?

— Вы — Фотиева? Значит, мы к вам. Мальчонку в приют хотим определить! — сообщил я, протискиваясь в дверь.

Чиновница выслушала нас без особого интереса.

— Да, мальчик, — сказала она, когда я закончил, — таких, как этот твой Митька, сейчас — пруд пруди. Беспризорников вокруг — море! Только детского дома у нас нет. Ближайший — в Екатеринославе, и он переполнен сверх всякой меры. Рассчитан на пятьдесят человек, а там их уже больше ста пятидесяти! Была я там — ужас, что твориться! Спят вповалку на полу, в коридорах, на лестницах. Кормят, чем придется, чаще всего — пшенной кашей на воде да пустыми щами. Одежды нет, обуви нет, болезни всякие — тиф, дизентерия, чесотка… В общем, сказали они больше им никого не присылать!

— Так что, вы его не возьмете? — с досадой спросил я.

— Ну, запишу его в свою очередь. Может, через какое-то время место и освободится, если кто-нибудь из тамошних «постояльцев» сбежит или помрет. Но, честно говоря, мальчик, — она посмотрела на меня усталыми, выцветшими глазами, — не уверена я, что для него там лучше будет, чем на воле. У нас там, знаешь свои законы. Старшие младших обижают, последнее отбирают, и еду, и одежду. Воспитатели с ног сбиваются, а толку мало. Народ там скверный — и воришки, и хулиганы…

— Ладно, мы подумаем — хмуро ответил я, кивнул друзьям, и мы вышли обратно на запыленную улицу, чувствуя себя в тупике. Нда… Не все проблемы можно решить наганом!

— Ну и что делать будем? — спросил меня Коська. — Запишем, может, в детдом? Вдруг он там ко двору придется?

— Нет, — сказал я, глядя я вдоль пыльной, раскаленной улицы. — В Екатеринославе мы его не отправим. Пропадет он там.

— А что же делать? — Костик растерянно посмотрел на меня. — Не можем же мы его вечно с собой таскать!

— Нужно что-то придумать здесь, в Каменском, — нахмурился Гнатка. — Может, все-таки есть какой-нибудь приют? Церковный там, или еще какой?

Но такого приюта не было. Вот если его самим создать… Но кто нас, малолетних подростков, слушать будет? Пошлют, как эта Фотиева, и всего делов. Это не Макаренко, который за детдомовцев радел и целую систему их воспитания создал.

Макаренко! — простреляла меня мысль. — Вот кто точно смог бы нам помочь. Но как на него выйти-то? И пока выйдем, Митьке все равно надо где-то жить. Но сама идея хорошая.

К тому же Макаренко создавал самоуправляемый детский дом. Может, начать самим такой делать? Детдом, где дети будут не только жить, но и работать, учиться, и вырасти чем-то более полезным для общества, чем воры и проститутки.

— Слушайте, ребята, — остановился я так резко, что Гнатка, не ожидавший этого, налетел на меня сзади. — А что, если нам самим… устроить детский дом? Прямо здесь, в Каменском!

Гнатка и Костик удивленно посмотрели на меня, потом друг на друга, потом — снова на меня.

— Ты что, Лень, с ума сошел? — первым пришел к себе Костик. — Какой детский дом? Мы и сами-то не сильно взрослые! Это же надо как-то устроить? И чем мы их будем кормить?

— А мы не будем просить, мы будем предлагать! — горячо возразил я, чувствуя, как идея захватывает меня все сильнее. — Создадим не просто приют, а… трудовую колонию! Для беспризорников. Таких, как Митька. Их ведь в городе полно! Мы их заберем, дадим пропитание. Поможем им обустроиться, наладить быт. А потом мы организуем их в отряды помощи! Будем помогать и Советской власти, и жителям города. Воду таскать, дрова пилить, в огородах работать, мусор убирать. И за это мы потребуем от властей помощи! Продуктами, одеждой, ну и там все такое. Это будет не попрошайничество, а сотрудничество! Мы — работа, они — снабжение. И назовем наш отряд… — я чувствовал, что меня понесло, но остановиться уже не мог. — «Пионеры»! Ну, то есть — первопроходцы. Как вам?

Гнатка и Костик слушали меня, открыв рты. Конечно, они недоумевали: идея показалась им, наверное, совершенно фантастической. Но потом, когда я продолжал рассказывать, расписывая все выгоды и перспективы, в их глазах зажегся интерес. Мальчишеская жажда приключений, желание быть активными, да и просто человеческое сочувствие к такому же, как Митька, потихоньку взяло свое.

— А что, — сказал Гнатка, почесав в затылке под своей выгоревшей кепчонкой. — Может, и выйдет что-нибудь путное. Все лучше, чем слоняться без дел да с голоду пухнуть.

— Но где мы это все сделаем? В шалаше? — скептически спросил Коська. Но меня уже было не остановить.

— Да ладно! Что у нас в Каменском, домов пустых нету? Вон, Митька же рассказывал, где он иногда ночевал! Приберемся там, марафет наведем, и можно жить.

Идею мои все же приняли, теперь осталось ее лишь воплотить. А как о нас люди заговорят, можно уже и в ревком идти — требовать (именно требовать, ведь система будет работать) — поставить нас на учет и хоть какое-то довольствие выделять. Если… нет, когда все получится, это станет одной из первых моих ступенек к власти. Покажу себя организатором, который продолжает содействовать в помощи простому народу, да еще и детей воспитывает. Ну и совесть моя будет чиста — хорошее же дело задумали!

Глава 3

Прошел месяц с тех пор, как мы с ребятами взяли шефство над Митькой и другими беспризорниками, организовав на свой страх и риск «пионерский отряд». Жизнь внесла коррективы во многие планы. Сначала я думал поселить ребят на вилле пана Колодзейского, но, увы, у меня не получилось — ее забрали под размещение отряда ЧОН. Пришлось довольствоваться одним из пустующих складов на заводе. Май сменился знойным, пыльным июнем, приближался июль. Солнце по-прежнему нещадно палило, выжигая последние остатки зелени, а долгожданные дожди так и не спешили на нашу измученную землю. Но мы не унывали. Жизнь в нашем «пионерском доме» понемногу налаживалась.

— Так, Митька, держи этот край! А ты, Васька, — крикнул я высокому, костлявому пареньку лет двенадцати с вечно голодными глазами, — натягивай веревку потуже, чтобы не провисала! Костик, ты следи, чтобы колья не шатались!

Мы сооружали над очередной грядкой самодельный навес от солнца — еще одна моя «рационализаторская» идея. Четыре крепких кола, выструганных из орешника, были воткнуты по углам небольшой, но еще не совсем засохшей овощной грядки. Между кольями были натянуты две толстые бечевки, а на них мы теперь пытались натянуть старую, дырявую рыболовную сеть, латаную-перелатаную, да так и брошенную своими изначальными владельцами. Мы же смастерили из нее импровизированную защиту от солнца. Хозяйка огорода, тетка Дарья, одинокая вдова красноармейца, стоявшая рядом и с тревогой наблюдавшая за нашими манипуляциями, обещала за работу дать нам немного вареной картошки и пару луковиц. Для вечно голодных детей это было целое состояние.

В нашем «пионерском отряде» к тому времени помимо Митьки, меня, Гнатки и Костика, было еще семеро ребят — трое мальчишек и четыре девчонки, все беспризорники, прибившиеся к нам за этот месяц. Жили они все вместе, в нашем «штабе» на заводе, спали вповалку на натасканной нами соломе, ели что придется, но зато были вместе, под нашей защитой, и это было главное.

Основным «промыслом» была доставка воды, как самая востребованная услуга в это непростое время. Наша «водовозочка», скрипучая, неуклюжая, но такая нужная, трудилась с утра до вечера. Мы разделились на бригады: одни таскали воду из обмелевшего Днепра, наполняя бочку, другие — развозили ее по дворам. К концу месяца у нас было уже семнадцать «постоянных клиентов» — дворов, куда мы регулярно доставляли воду для полива. Платили нам кто чем: кто давал хлеба, кто картошки; иногда платили деньги — обесценившиеся «керенки» или новенькие советские рубли, на которые, впрочем, мало что можно было купить.

Были и другие работы. Беспризорники, гордо называвшиеся теперь «пионеры», помогали колоть дрова, пололи огороды, убирали мусор на улицах, носили передачи в больницу. Особенно охотно нашими услугами пользовались те, кто работал в новой управе или в ревкоме — они целыми днями пропадали на службе, а за своими огородами и хозяйствами следить было некогда. Я был этому только рад. Во-первых, это была какая-никакая, а все же «работа на Советскую власть», что придавало нашему отряду определенный статус. А во-вторых, у меня появлялись связи, знакомства. Меня уже знали в лицо некоторые ревкомовские работники, здоровались, иногда даже расспрашивали о наших «пионерских» делах. Та же самая Фотиева, ведавшая социальной сферой, постоянно к нам обращалась. По слухам, слава о нашем отряде дошла даже до самого председателя ревкома, товарища Фирсова. И это внушало мне некоторые надежды.

В тот день, закончив с навесом у тетки Дарьи и получив заслуженную награду — по паре еще теплых, рассыпчатых картофелин в мундире и по хрустящей зеленой луковице каждому, мы возвращались в свой «пионерский дом». Шли гурьбой, уставшие, потные, но довольные. Впереди — недолгий отдых, а потом — снова за работу, таскать воду.

Но сегодняшний день преподнес нам сюрприз.

Когда мы проходили мимо старой водонапорной башни, возвышавшейся над станцией, как изуродованный символ войны, мы увидели там необычное оживление. У подножия башни копошились несколько рабочих, что-то чинили, стучали молотками, переругивались. А рядом с ними, заложив руки за спину и внимательно наблюдая за их работой, стоял сам председатель ревкома, товарищ Фирсов. Невысокий, коренастый, в неизменной кожаной тужурке, по случаю жары расстегнутой на груди, в сдвинутой на затылок фуражке со звездой.

Мы остановились поодаль, с любопытством наблюдая за происходящим.

— Что это они там делают? — спросил Костик.

— Не иначе, башню чинят, — предположил Гнатка. — Давно пора. А то воды в городе совсем нет.

У меня внутри все оборвалось. Вода пойдет из колонок? Это, конечно, хорошо для города. Но для нас, для нашего «пионерского отряда»… это был конец нашего главного заработка. Если вода будет в колонках, кто же станет платить нам за то, чтобы мы таскали ее из Днепра?

Нужно было что-то делать. И делать немедленно. «Куй железо, пока горячо», — мелькнула в голове известная поговорка.

Я решительно шагнул вперед, растолкав своих «пионеров».

— Товарищ председатель! — громко сказал я, подходя к Фирсову.

Тот удивленно обернулся. Рабочие тоже перестали стучать молотками и с любопытством уставились на меня.

— Ты кто такой будешь, хлопчик? — строго спросил Фирсов, смерив меня взглядом с ног до головы.

— Я — Брежнев Леонид, командир пионерского отряда имени Парижской Коммуны, — отрапортовал я, стараясь говорить как можно увереннее. — А это — мои бойцы.

Фирсов хмыкнул, но в его глазах мелькнул интерес.

— А, пионеры… Слыхал, слыхал про вас. Говорят, дельные ребята, помогаете городу. Ну, и чего тебе, «командир» надобно?

— Товарищ председатель, — сказал я, глядя ему прямо в глаза. — Вы вот башню починили почти, воду в колонки даете. Это хорошо. Да только при этом у детей хлеб отнимаете!

Фирсов удивленно поднял брови. Рабочие вокруг загудели.

— Это как же так, отнимаю? — нахмурился председатель. — Я, наоборот, для народа стараюсь, чтобы вода была, чтобы жизнь налаживалась.

— А так, товарищ председатель, — продолжал я, чувствуя, как на меня смотрят десятки глаз, и от этого становилось немного не по себе, но отступать было поздно. — Наш пионерский отряд, он ведь не от хорошей жизни создался. Это — беспризорники, сироты. Родителей у многих война отняла. Жить нам негде, есть нечего. И мы вот, как вы, верно, знаете, сами себе приют организовали. И чтобы прокормиться, воду таскаем из Днепра, людям в огороды, тем и живы. А теперь, если вода в колонках будет, наша работа никому не нужна станет. И что тогда им делать? С голоду помирать? Или опять по улицам слоняться, воровать?

Кажется, мои слова произвели впечатление. Фирсов задумался, потирая подбородок.

— Так, говоришь, на доставке воды зарабатываете? — переспросил он. — И много у вас таких «работников»?

— Десять человек, товарищ председатель, — ответил я. — И еще семеро малышей, которых мы кормим. И мы не только воду таскаем. Мы и другую работу выполняем — дрова пилим, мусор убираем, старикам помогаем. Мы — полезные члены общества!

— Полезные, говоришь… — Фирсов снова хмыкнул, но уже не так строго. — Ну, допустим. И что же ты предлагаешь, командир? Чтобы я башню обратно сломал, чтобы вы и дальше воду таскали?

— Нет, товарищ председатель, — усмехнулся я. — Башню, конечно, ломать не надо. Вода городу нужна. Но раз уж так получилось, что ревком нас, можно сказать, работы лишает, так пусть другую работу даст. Ну и с оплатой что-нибудь порешать надобно! Мы ведь не дармоеды какие-нибудь. Мы работать хотим и можем. Дайте нам работу, и мы докажем, что «пионеры» — это настоящая опора Советской власти!

Я замолчал, переводя дух. Что же, я сказал все, что хотел. Теперь оставалось только ждать его решения.

— Так, значит, говоришь, работу вам давай? И плату за нее? — Фирсов прошелся взад-вперед, заложив руки за спину, — А какую работу, позволь спросить, вы, пионеры, выполнять можете? Кроме как воду таскать? Не на завод же вас ставить, малолеток.

— Любую, товарищ председатель! — горячо воскликнул я. — Какую поручите! Мы можем улицы подметать, мусор убирать. Можем в больнице помогать — полы мыть, больным воду носить. Можем на огородах общественных работать — полоть, поливать. Дрова пилить для школы или для столовой. Да мало ли работы в городе, где мужских рук не хватает, потому что все на фронте? Мы — не белоручки, работы не боимся!

— Хм… — Фирсов снова задумался. — Идея, конечно, не лишена смысла. Беспризорников в городе действительно много, и это — проблема. А если их организовать, направить их энергию в полезное русло… Может, и толк какой выйдет.

Он остановился, посмотрел на меня в упор.

— Ладно, командир. Убедил. Напишу в губком, чтобы ваш «пионерский отряд имени Парижской Коммуны» признали официально. Пайки выделим, и дел вам найдем. Город у нас запущенный, после всех этих… властей, — он выразительно хмыкнул, — дел невпроворот. Будете помогать городскому хозяйству. Но, — он поднял палец, — нужен будет над вами старший. Взрослый человек, который будет за вас отвечать, за дисциплину, за порядок. А то я вас знаю, сорванцов — без присмотра чего только не натворите!

Старший… Это было неожиданно, но, в общем-то, логично. Кто-то должен был нести ответственность. Но абы кого видеть над собой, какого-нибудь назначенного ревкомом чинушу, который будет только командовать и мешать, мне совсем не хотелось. И тут я вспомнил про рабочего Свиридова. Завод почти не работал, и он, несмотря на награды за уничтоженный бронепоезд, перебивался теперь случайными заработками. Вот кто мог бы стать для нас настоящим наставником и защитником!

— Товарищ председатель, — сказал я решительно. — Есть у меня на примете такой человек. Свиридов Иван Евграфович. Рабочий с Днепровского завода, инструментальщик. Человек уважаемый, подпольщик. Он сейчас не у дел. Он бы мог нашим отрядом руководить. И мы бы его слушались.

Фирсов кивнул.

— Свиридов… Знаю такого. Хороший мужик. Что ж, кандидатура подходящая. Присылай его ко мне завтра, поговорим. А ты, командир, — он снова посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула усмешка, — заходи тоже. Будем составлять план работы для ваших… пионеров.

— Есть, товарищ председатель! — гаркнул я, чувствуя, как от радости и гордости у меня перехватывает дыхание. — Не подведем!

Жизнь нашего «пионерского отряда» круто изменилась. Нас признали, дали работу. Со Свиридовым я, хоть и не без труда, но договорился. Зайдя к нему в тот же вечер, рассказал весь расклад, и слезно попросил:

— Иван Евграфович, помоги ты нам, ради Христа. Возглавь, хотя бы временно, нашу коммуну!

— Лёнька, ты что, очумел? Да какой я тебе педагог? — возмутился поначалу Свиридов.

— Да мне, главное дело, чтобы перед начальством нас представлять. А так-то я сам с ними возиться буду!

— А ну как натворите чего?

— Да что они натворят, хуже обычного беспризорного баловства? Ну, стащат что-нибудь — так накажем!

В конце концов, Свиридов согласился. Он был человеком строгим, но справедливым, и ребята его уважали и слушались. Сам Иван Евграфович получил паек совслужащего, и, кажется, был вполне этим доволен. Надо сказать, что среди подростков он очень быстро завоевал авторитет: рассудительный и спокойный, а главное — очень мастеровитый, умеющий изготовить что угодно, Иван Евграфович вскоре стал примером для подражания у ребят. Несколько раз мы устраивали натуральные экскурсии по заводу, где он много рассказывал про его работу — про гигантские прокатные станы, мощные паровые молоты, прессы, бесконечно-длинные вальцы, огромные, ныне потухшие домны и мартены. Его слушали, открыв рот: для этих, по большей части деревенских ребят, увиденное казалось каким-то чудом, обителью гигантов, способных творить невообразимые простым смертным вещи.

Но эти «экскурсии» бывали все больше в выходные. В будние же дни мы работали с утра до вечера. Подметали улицы, убирали мусор, который скопился за годы разрухи, чинили заборы, помогали на огородах. Наша «водовозочка» теперь доставляла воду не только частным лицам, но и в городскую больницу, и в столовую, где кормили раненых красноармейцев. За работу мы получали паек — хлеб, пшено, иногда немного картошки или свеклы. Это было немного…, но это было хоть что-то, а в это голодное время не стоило пренебрегать ничем.

На какое–то время все «устаканилось». Наша коммуна потихоньку росла, и я все чаще задумывался о дальнейших путях ее (и моего) развития. Что дальше? Посвящать свою жизнь борьбе с беспризорностью я не собирался. Кроме того, педагогических знаний у меня не было совершенно. Вот бы передать все это дело толковому специалисту! И тут я все чаще вспоминал о Макаренко. Этот знаменитый педагог, который, как я знал из своей прошлой жизни, именно в эти годы где-то на Украине создавал свою знаменитую колонию для беспризорников, творил чудеса, превращая малолетних преступников и бродяг в настоящих тружеников и патриотов. Его система воспитания, основанная на труде, коллективизме, самоуправлении — вот что нам было нужно! Но где его искать, этого Макаренко, как на него выйти? Украина большая — может, он сейчас где-нибудь под Харьковом? Да и как объяснить здесь, в Каменском ревкоме, кто он такой и почему его опыт так важен для нас? Ведь в этой реальности он был еще никому не известен.

Размышляя обо всем этом, я все чаще заходил в ревком, в отдел Фотиевой. Теперь она встречала меня уже не так враждебно, даже с некоторой долей уважения. Ее звали Вера Ильинична. Она была заведующей отделом народного образования, или сокращенно — наробразом. Я рассказывал ей о наших «пионерских» успехах, делился планами, осторожно закидывал удочку насчет организации учебы для наших ребят. Она слушала, вздыхала, обещала подумать, помочь.

И вот однажды, когда я пришел в очередной раз, она вдруг произнесла:

— Знаешь, Лёня, тут такое дело… Из Екатеринослава пришло распоряжение. Губернский детский дом там совсем задыхается: мест нет, да еще дети болеют. Тиф у них обнаружился. И вот теперь они хотят хотя бы часть из них «сбыть» по уездам, распределить по

местным приютам, если таковые имеются. Нам, в Каменское, тоже предлагают взять человек двадцать-тридцать. Куда их девать — ума не приложу. Наш-то «пионерский дом» тоже не резиновый. Но, может, что и придумаем. Я вот собираюсь на днях в Екатеринослав, посмотреть, что там за дети, в каких условиях они содержатся, да и вообще, обстановку разведать.

Услышав слово «тиф», страшное в годы Гражданской войны, я поначалу даже растерялся.

— Так, Вера Ильинична, а как так-то? Это нам тифозных, что ли, пришлют? Да они же нам всех позаражают!

— Нет, Леня. Ты не понял. Пришлют как раз здоровых, а сам детдом закроют на карантин.

Немного успокоившись, я начал обдумывать положение, и тут у меня внутри все встрепенулось. Екатеринослав! Губернский центр! Может быть, там я смогу что-то узнать о Макаренко? Или, по крайней мере, о других подобных колониях? Да и у губкомовского начальства на глазах помаячить бы не мешало!

— Вера Ильинична, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал солидно, «по-взрослому», и не дрожал от волнения. — А можно мне с вами? Ну, в Екатеринослав? Я бы тоже посмотрел, как там детские дома организованы. Может, что полезное для нашего отряда почерпну. Да и с детьми бы познакомился, которых к нам пришлют. Помог бы вам выбрать самых… подходящих.

Фотиева удивленно посмотрела на меня.

— Тебе-то зачем это? Дел, что ли, в Каменском мало?

— Мало, Вера Ильинична, — не моргнув глазом, соврал я. — Хочется опыта набраться, посмотреть, как другие работают. Мы ведь только начинаем, а там, в губернии, наверняка уже все налажено. Да и просто, — я немного смутился, — интересно.

Она подумала, потом махнула рукой.

— А, ладно, езжай. Все равно одной скучно. Да и помощь твоя, может, и пригодится. Только учти, поездка казенная, на роскошь не рассчитывай. И харчи свои бери, если есть что!

Глава 4

Поездка в Екатеринослав с Верой Ильиничной обещала быть непростой с самого начала. Пробиться в поезд в те времена было целым искусством, сродни штурму вражеской крепости. Станция в Каменском, да и в любом другом городе, в часы отхода редких, как манна небесная, поездов, превращалась в бурлящий котел человеческих страстей. Выбравшись на перрон, мы увидели уже привычную картину: у каждого вагона — ревущая, напирающая толпа, и измученные чекисты, пытающиеся хоть как-то сдержать этот людской поток.

— Говорю вам, товарищи, вагон переполнен! На крышу и буфера — запрещено! — надрывался у ближайшего вагона молодой чекист. У Веры Ильиничны был с собой «мандат» — поручение на поездку от Фирсова. Но на железнодорожные власти он не произвел никакого впечатления.

— Мест нет, товарищи! — мрачно заявил охранник, кивая на переполненные зеленые вагоны.

Понимая, что церемониться некогда, я решительно взял Веру Ильиничну под локоть.

— Держитесь за меня, Вера Ильинична! Прорвемся!

И мы ринулись в самую гущу. Работая локтями, плечами, где-то пролезая под чьими-то руками, где-то перешагивая через узлы и мешки, осыпаемые руганью и толчками, мы, как два заправских ледокола, медленно, но верно продвигались к заветной двери вагона. Наган, рукоять которого я предусмотрительно выставил из кармана, иногда заставлял особо ретивых отступить. Наконец, неимоверными усилиями, втиснувшись в узкий проем, мы оказались внутри.

Вагон был набит людьми, и скорее напоминал банку шпрот. Духота, смрад от немытых тел, махорки и самогонного перегара ударили в нос. Люди сидели и стояли везде: на полках, под полками, в проходе. Мешки, узлы, бидоны, корзины занимали все свободное пространство.

— Куда прешь, слепой, что ли?! Ноги отдавил! — заверещала на меня какая-то баба необъятных размеров, восседавшая на узле, едва мы оказались в вагоне.

Мы с Верой Ильиничной с трудом нашли пятачок, где можно было хотя бы стоять, держась за поручни. О том, чтобы сесть, не могло быть и речи.

Вскоре наши соседи, компания матерых мешочников, занимавших лучшие места на нижних полках, начали проявлять к нам нездоровый интерес. Особенно их раздражала Вера Ильинична, которая, как «городская» и «начальница», по их мнению, занимала слишком много места.

— Эй, тетка, а ну подвинься! И так дыхнуть нечем, а тут еще вы со своими портфелями! — пробасил здоровенный детина с наглой ухмылкой, толкая Фотиеву плечом.

Вера Ильинична попыталась было возмутиться, ссылаясь на свой мандат, но ее никто не слушал.

— Мандат свой можешь засунуть… ну, ты знаешь куда, — скабрезно ухмыльнулся другой, помоложе, щелкая семечки прямо на пол.

Я понял, что добром дело не кончится. Эти типы чувствовали себя хозяевами вагона.

— Граждане, — вмешался я, стараясь говорить спокойно, но твердо. — Товарищ едет по важному государственному делу. Имейте уважение.

— А ты еще кто такой, щенок, чтобы нам указывать? — Молодой мешочник сплюнул шелуху мне под ноги. — Может, тебе тоже место освободить? На крыше?

Он угрожающе шагнул ко мне. Его дружки одобрительно загудели. Тут что-то нервы у меня не выдержали.

— Что же вы, гадье спекулянтское, думаете, вам все дозволено?! — голос мой сорвался на крик. Выхватив наган, я навел его на ближайшего ушлепка. — А ну, разойдись, пока я из вас решето не сделал! А семечки свои, сам знаешь куда, засунь!

Вид оружия произвел на мешочников отрезвляющее действие. Ухмылки медленно сползли с их лиц. Детина, что больше всех хорохорился, попятился, наткнувшись на своих подельников.

— Тише, тише, командир, чего сразу стрелять-то, — забормотал он. — Мы ж ничего… Мы ж по-хорошему…

— Вот и ведите себя по-хорошему! — отрезал я. — А то разговор короткий будет!

После этого инцидента нас больше никто не трогал. Вокруг нас образовался настоящий вакуум — мешочники отодвинулись от нас на добрых полметра и притихли, стараясь не попадаться мне на глаза. Вера Ильинична смотрела на меня со смешанным чувством удивления и благодарности.

Поезд, наконец, дернулся и медленно пополз, унося нас в Екатеринослав. К счастью, путь был недлинный — до Екатеринослава было всего лишь 35 верст.

Поезд, натужно пыхтя и отчаянно скрипя на стыках, тащился сквозь выжженную солнцем украинскую степь. За окном мелькали унылые пейзажи: потрескавшаяся, серая земля, редкие, пожухлые перелески, приземистые, беленые хаты с соломенными крышами, дымки над которыми тут же рвал на куски горячий, сухой ветер. Вагон, набитый до отказа людьми, их узлами, мешками и нехитрым скарбом, напоминал растревоженный муравейник. Пахло потом, махоркой, пылью и какой-то общей, застарелой безнадежностью.

Я сидел на жесткой полке, рядом с Верой Ильиничной, которая, измученная дорогой и духотой, дремала, уронив голову на свою объемистую сумку. Мои «пионеры» и их судьба, предстоящая встреча в Екатеринославе — все это крутилось в голове, не давая покоя. Но сквозь эти насущные заботы, как ростки сквозь асфальт, все настойчивее пробивались мысли о будущем: о том пути, который я выбрал или, вернее, который, как я считал, выбрал меня.

Я ведь не просто так ввязался во всю эту историю с беспризорниками. Да, жалость, сочувствие, желание помочь — все это было. Но было и другое — трезвый расчет. Я теперь Леонид Брежнев, хоть и попавший в это время и тело из далекого будущего, и я знал, чем все это закончится. Знал, что большевики победят, что Советская власть — это надолго, всерьез. И я хотел не просто выжить в этом новом, жестоком мире, но и занять в нем достойное место. А для этого нужно было подняться на самый верх. Стать Генеральным секретарем. И чем раньше, тем лучше.

Моя затея с «пионерским отрядом», с этой детской коммуной — это, конечно, хороший, благородный порыв. И он уже принес свои плоды: меня заметили в ревкоме, сам председатель Фирсов отнесся ко мне с некоторым уважением. Но я прекрасно понимал, что на одном этом далеко не уедешь. Ну, стану я известным в Каменском «организатором пионерского движения», ну, может, меня заметят в губернии. А дальше-то что? Тот же самый Макаренко, гениальный педагог, создатель уникальной системы воспитания, — какую он сделал карьеру при Советской власти? Да никакую. Да, его уважали, ценили, но в большую политику он так и не пробился. Остался «просто» выдающимся педагогом. А мне этого мало. Мне нужна была настоящая, большая политическая карьера. Как говорится в том старом анекдоте: «в колхозе больше всего пахала лошадь, но председателем она так и не стала».

Чтобы моя инициатива с «пионерами» стала не просто местным успехом, а трамплином для взлета, нужно нечто большее. Надо, чтобы о «пионерском отряде имени Парижской Коммуны» из города Каменского узнали и заговорили в Москве: в ЦК комсомола, а может, и в ЦК партии. Чтобы мой опыт признали передовым, образцовым, достойным подражания. Чтобы по всей стране начали создавать такие же отряды, такие же трудовые коммуны для беспризорников. Чтобы моя физиономия оказалась на передовицах газет. И вот тогда я, как зачинатель этого движения, его идейный вдохновитель и организатор, автоматически оказался бы в центре внимания. Меня бы начали приглашать на съезды, конференции, печатать мои статьи в «Правде» и «Комсомольской правде». Вот это, товарищи, было бы Дело!

Но для этого нужен покровитель. Тот, кто расскажет о моих делах и идеях в ЦК, тиснет первые статьи в газетах, в общем — даст хороший пинок моей карьере.

Кто это мог быть? Самый лучший вариант — кто-то из текущих вождей. Хоть это и маловероятно, но высокая цель, которую я сам себе поставил, иного не потерпит. И пусть к самим высоким чинам я сейчас вряд ли пробьюсь, но хотя бы понять, к кому надо стремиться необходимо. Чтобы не оказаться в обойме их противников, а держаться за их сторонников.

Я перебирал в уме имена тогдашних вождей. Ленин? Отличный выбор, но увы, век его недолог, да и занят он сейчас сверх всякой меры. Троцкий? Слишком увлечен мировой революцией и внутрипартийной борьбой. Зиновьев, Каменев? Черт их знает, что за люди! Бухарин? «Любимец партии», теоретик, но, как я знал, не слишком сильный организатор и не боец.

Оставался один. Почти незримый сейчас, в 1920 году, но потихоньку набирающий силу, и в ближайшие годы начинавший медленную политическую карьеру, подминая под себя партийный аппарат, методично убирая с дороги конкурентов. Тот, кто ценил не только идеологическую выверенность, но и практическую хватку, умение добиваться результата. Тот, кто сам вышел из низов и понимал психологию людей. Сталин.

Конечно же, Сталин. Пусть он и неоднозначная фигура, однако пока иной на горизонте нет, а сам я раньше него точно генеральным секретарем или иным руководителем не стану.

Если бы он обратил внимание на мой «пионерский» опыт, если бы он увидел в нем рациональное зерно, если бы он решил сделать его всесоюзным движением — это был бы мой звездный час. Его поддержка открыла бы мне все двери. Я стал бы не просто местным активистом, а фигурой всесоюзного масштаба. Да, судя по некоторым данным, он долбанутый на всю голову тиран. Но ведь именно ему суждено победить… А я хочу быть в стане победителей. Ну а уж потом… потом будет видно, сейчас загадывать так рано не имеет смысла.

Только вот как привлечь его внимание, донести до него свои идеи? Писать письма в ЦК? Это так же надежно, как бросать их в бутылках в Днепр — наверняка ЦК просто завален письмами всякого рода проходимцев и городских сумасшедших. Да даже если просто неравнодушных трудящихся — количество писем нивелирует мой шанс достучаться таким образом. Нет, с улицы туда не зайдешь, нужен другой путь. Надо устроить так чтобы он сам узнал обо мне, о моей работе. Через газеты, через доклады местных партийных органов, через рекомендации влиятельных людей, входящих в круг его общения.

Да, я понимал, что это будет непросто. На этом пути меня ждут и разочарования, и препятствия, и удары судьбы. Аппаратная борьба — это жестокая, беспощадная игра, где нет места сантиментам. Но я считал, что готов к этому. Я знал, чего хочу, и был готов идти к своей цели, не сворачивая. В конце концов, у меня есть гигантское преимущество перед местными, хм, «хронотуземцами» — я совершенно точно знаю, в какой из колесниц стоит стопроцентный победитель. Надо лишь заскочить в эту колесницу, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть кем. А там уже сделать карьеру — дело техники…

Наконец, после почти часа пути, поезд, дергаясь и скрипя, вполз на вокзал Екатеринослава. Он оказался гораздо оживленнее, чем в нашем Каменском. Первое, что бросилось в глаза, — огромное количество красноармейцев. Они были повсюду: на перроне, в здании вокзала, на путях. Усталые, запыленные, в выгоревших гимнастерках и буденовках, они сидели на своих вещмешках, курили самокрутки из газетной бумаги, чистили винтовки, переругивались, смеялись. На запасных путях стояли целые эшелоны — теплушки, набитые людьми, платформы с орудиями, накрытыми брезентом, пулеметные тачанки, даже несколько неуклюжих, закопченных броневиков. Дымили походные кухни, а кое-где прямо на перроне, на ветру металось пламя костров, над которыми в прокопченных котелках варилась какая-то нехитрая солдатская еда. Воздух был густо пропитан запахом махорки, конского пота и навоза, дыма, паленой щетины и тревоги.

И над всем этим гамом, стуком колес, паровозными гудками, командами и руганью неслись песни. Из одного вагона, где на нарах, свесив ноги, сидели молодые ребята в новеньких, еще не обмятых шинелях, доносилась протяжная, немного печальная, но полная какой-то скрытой силы мелодия:

Слезами стонет мир безбрежный,

Вся наша жизнь — тяжелый труд,

Но день настанет неизбежный,

Цепи падут, оковы падут…

А от соседнего эшелона, где под залихватские переборы гармошки какой-то развеселый боец отплясывал «барыню», неслась другая, разухабистая, с издевкой и матерком:

Эх, улица, улица!

Гад Деникин журится,

Что сибирская Чека

Разменяла Колчака…

А теперь и Врангелю

Споем мы «аллилуйю»!

Красный штык его найдет,

В Крым обратно загонет!

Вся эта картина — красноармейцы, оружие, эшелоны, песни, — говорила о том, что война еще далеко не закончена. Что где-то рядом, совсем близко, идут бои, льется кровь.

Мы с Верой Ильиничной с трудом выбрались из вагона, протискиваясь сквозь толпу. Нужно было найти комендатуру, отметиться, узнать, где находится губернский отдел наробраза.

И вдруг, в этой сутолоке, я увидел знакомое лицо. Высокий, широкоплечий, с обветренным, волевым лицом и шрамом через всю щеку — тот самый Костенко, который был первым красным комендантом Каменского после изгнания григорьевцев! Тот самый, который премировал меня отрезом габардина, а затем я, при деникинцах, спасал его, раненого, прятал в нашем шалаше в днепровских плавнях, а затем отвозил на другой берег Днепра.

— Товарищ Костенко! — крикнул я, с трудом проталкиваясь к нему через толпу.

Он обернулся, удивленно посмотрел на меня, потом его лицо расплылось в широкой, радостной улыбке.

— Ленька! Лёнька Брежнев! Здорово, бродяга! Какими судьбами? Вот так встреча! А я тебя и не узнал сразу! Ты, я смотрю, подрос, возмужал!

Мы крепко, по-мужски, обнялись. Целоваться не стали.

— Да вот, Вера Ильинична, — я представил Фотиеву, — по делам службы, в Екатеринослав. А я, как бы, сопровождаю. А вы как здесь?

— А мы, Ленька, воюем, — Костенко сразу посерьезнел. — Нас с Северного Кавказа перебросили. Слыхал, небось, Врангель из Крыма выполз, гад? Пользуется, что наши силы

заняты — кто на Польских фронтах, кто в Средней Азии, кто на Дальнем Востоке. Белогвардейцы, сволочи, недавно еще с Новороссийска тикали, а теперь вдоль Днепра прут, к Екатеринославской губернии пробираются. Нельзя им дать прорваться! Вот, республика все силы напрягает, чтобы его обратно в нору загнать. Целые дивизии сейчас на юг перебрасывают. Наш полк тоже здесь, грузимся. Видишь, какой кавардак на станции? Это все из-за нас, из-за военных грузов. Я только что от начальника движения — там ужас что твориться! Эшелоны идут один за другим, «пробки» на путях, телеграф трещит от приказов — «вне всякой очереди… в порядке боевого приказа… немедленно освободить путь…» За неисполнение — трибунал. Вон, в участковой ЧК, говорят, работа лихорадочная, не успевают разбираться!

— Так что же, товарищ Костенко, война опять к нам придет? Опять бои, разруха? — спросила Вера Ильинична

— Не дОлжно, гражданочка, — успокоил ее Костенко, хотя в его голосе не было полной уверенности. — Не допустим. Разобьем гада Врангеля, как и всех остальных.

Я слушал его, и вспоминал, что ситуация действительно серьезная. Врангель, последний оплот белого движения, собрал в Крыму значительные силы и, воспользовавшись тем, что основные силы Красной Армии были отвлечены на польский фронт, перешел в наступление. То, что его в итоге разобьют, не подлежит никакому сомнению. Но вот успеет ли он дойти до Каменского — этого я не знал. А если дойдёт? Мне непременно придется бежать — история с «Дроздовцем» широко известна. А если не успею? Черт… Черт!!!

— … даже штаб Юго-Западного фронта, говорят, из Кременчуга сюда, поближе к боевым действиям, перевели, — как будто издалека, развеивая набежавшие мысли, донесся до меня голос товарища Костенко. — В Синельниково теперь, сказывают, штабной поезд стоит. Ну, там, в Реввоенсовете, товарищ Сталин. Он еще Царицын оборонял, я тогда под его началом воевал. Мужик — кремень! Мы тогда крепко красновцам дали. Уж он-то не позволит Врангелю прорваться! Хребет ему переломит, как и Деникину с Колчаком…

Тадамм!!! Как будто гигантский гонг прозвучал в моей голове. На ловца и зверь бежит! Сталин сейчас не в Москве, не в Петрограде — а совсем рядом, в Синельниково! Это же всего ничего, верст двадцать по дороге на юг! Значит, тот, о ком я так много думал, тот, с кем я связывал свои карьерные амбиции, сейчас здесь, на Украине, руководит борьбой с Врангелем!

Тем временем Костенко, оглянувшись на свой состав, заторопился по своим делам.

— Ладно, Ленька, — он снова повернулся ко мне, — молодец, что дружишь с Советской властью. За нами — будущее, и не только нашей страны, а всего человечества! Ты, с оказией заходи к нам в эшелон, вон он, на третьем пути. Мы сегодня навряд ли отчалим, да и завтра, наверное, тоже. А я, если время будет, чайком тебя угощу, сахарином поделюсь. Расскажешь, как там у вас в Каменском теперь дела!

Он назвал номер своего эшелона и тепло попрощался, спеша по своим командирским делам. А я остался стоять посреди этого вокзального хаоса, оглушенный новостью и обуреваемый новыми, еще более смелыми планами. Сталин был здесь, рядом. Это был шанс. Отличный, невероятный, фантастический шанс! Но… как им воспользоваться?

Глава 5

Из задумчивости меня вывел голос Веры Ильиничны.

— Ну что, Лёня, — произнесла она, кладя руку мне на плечо, — пойдем в губком, тут недалеко должно быть!

— Конечно! — автоматически ответил я и, думая о своем, пошел за нею.

Пробираясь сквозь толпу, мы вышли на привокзальную площадь, где теснились извозчики на пролетках с худыми, измученными лошадьми, и стояли какие-то телеги, груженые бочками и мешками. Вера Ильинична, уже бывавшая в Екатеринославе, быстро сориентировалась и повела меня по широким, пыльным, разбитым воронками, заплеванным подсолнечной шелухой улицам. Город, определено, видал лучшие времена: вокруг я видел красивые дома с прекрасной архитектурой, но с облупившейся штукатуркой и выбитыми стеклами, разрушенные лавки, сгоревшие остовы трамваев, навеки застрявшие на путях, поваленные театральные тумбы. Чувствовалось, что война и разруха не обошли стороной и этот крупный промышленный центр.

Губком партии располагался в бывшем здании Дворянского собрания — помпезном, с колоннами и лепниной, но, как и весь город, порядком обшарпанном и утратившим былой лоск. Внутри царила та же суета и неразбериха, что и на вокзале. В длинных, гулких коридорах пахло дешевым табаком, сургучом и карболкой. На парадной лестнице курили и что-то со смехом рассказывали друг другу люди в кожаных куртках, с маузерами на боку; советские чиновники в вышиванках и косоворотках под защитными френчами сновали по коридорам с озабоченными лицами и кипами бумаг под мышкой.

Мы долго плутали по этим коридорам, стучась в разные двери и пытаясь найти нужный нам отдел. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, нас направили в небольшую, тесную комнатку, где за столом, заваленным бумагами, сидел уставший, небритый человек в очках с треснувшим стеклом и почему-то в тюбетейке. Это и был заведующий губернским отделом народного образования.

Вера Ильинична, предъявив свой мандат и изложив суть нашего дела, довольно быстро получила то, за чем мы приехали: официальную бумагу на отбор двадцати детей из екатеринославского детского дома для перевода их в Каменское, в наш «пионерский отряд», а также направление на бесплатный проезд обратно для всей нашей будущей «делегации». Кроме того, нам дали адрес самого детского дома, который, как оказалось, располагался где-то на окраине города, в бывшем купеческом особняке.

— Ну вот, Леня, — сказала Вера Ильинична с некоторым удовлетворением, когда мы вышли из губкома, сжимая в руках заветные бумаги. — С официальной частью, можно сказать, управились. Теперь надобно устроить самое главное: отобрать детей. Предлагаю не откладывать это дело в долгий ящик, а взять лихача и сразу же отправиться туда.

Предложение Фотиевой было вполне разумным, но… Но мои мысли были уже далеко и от Екатеринослава, и от детского дома, и даже от собственной «пионерской коммуны». Все воображение устремлялось туда — в Синельниково, на узловую станцию в 20 с лишком верстах от Екатеринослава, где, по словам Костенко, сейчас находился штабной поезд Юго-Западного фронта, членом Реввоенсовета которого и был товарищ Сталин. Определенно, это был шанс, который нельзя упускать. Одна только встреча могла бы резко изменить всю мою жизнь, всю мою будущую карьеру…

Наконец, я решился.

— Вера Ильинична, — произнес я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более безразлично. — А может быть, вы отправитесь в детский дом одна? У вас и бумага офици-

альная есть, и опыт общения с такими учреждениями побольше моего. А я… я бы хотел еще немного задержаться в городе. У меня тут есть одно дело… неотложное.

Фотиева удивленно посмотрела на меня.

— Какое еще неотложное дело, Леня? Я тебя не понимаю! Ведь ты же сам говорил, что хочешь посмотреть, как устроены губернские детские дома, набраться опыта…

— Говорил, Вера Ильинична, говорил, — вздохнул я. — Но, честно говоря, после того бардака, который мы видели сегодня в губкоме, у меня большие сомнения, что увижу какой-то особый порядок и «передовой опыт». Опять же, тиф… не хотелось бы заразиться! А дело у меня действительно важное: хочу сходить к товарищу Костенко, еще раз повидаться с ним, поговорить. Может, чем смогу помочь нашим бойцам. Да и вообще…

Я замялся, не зная, как объяснить ей свое истинное намерение.

Фотиева посмотрела на меня с некоторым недоумением, но и с любопытством. Она была женщиной неглупой и, видимо, чувствовала, что я чего-то не договариваю.

— Ну, хорошо, Леня, — сказала она наконец после недолгого раздумья. — Если хочешь — иди. Только не задерживайся надолго. Поезд завтра в двенадцать, не опаздывай. Встретимся на перроне, у того же вагона, в котором приехали, если получится. А детей я постараюсь отобрать самых крепких и толковых, не волнуйся. И — никакого тифа!

— Спасибо, Вера Ильинична! — искренне поблагодарил я ее. – Я недолго, честное слово. Управлюсь с делами — и сразу на вокзал.

Она кивнула, еще раз посмотрела на меня с каким-то непонятным выражением и направилась в сторону ближайшего извозчика.

А я, не теряя ни минуты, бросился обратно на вокзал. Сердце колотилось как сумасшедшее, отбивая какой-то лихорадочный, тревожный ритм, в голове стучала одна навязчивая мысль, затмевая все остальные: Синельниково! Синельниково! Это был шанс, который выпадает раз в жизни, и я, нутром чуя его значимость, не мог, не имел права его упустить.

На вокзале по-прежнему царил тот же самый первобытный хаос, что и два часа назад. Красноармейцы, лошади, окутанные паром составы, разудалые песни под гармошку, перемежающиеся с отборной матерной руганью — все смешалось в один оглушительный, тревожный гул. Первым делом нужно было вновь отыскать эшелон Костенко. В этом бардаке это было непросто; однако, после долгих поисков, я увидел его невысокую фигуру в порыжевшей от солнца кожанке у одного из товарных вагонов-теплушек, где солдаты, отдуваясь и матерясь, грузили тяжелые, продолговатые ящики защитного цвета.

— Товарищ Костенко! — крикнул я, подбегая к нему и пытаясь перекричать вокзальный шум.

Он удивленно обернулся.

— Ленька! Опять ты? Чего запыхался — бежал, что ли? Что случилось?

— Выручайте, товарищ Костенко! Мне срочно, просто позарез, нужно в Синельниково! — выпалил я, переводя дух и чувствуя, как от волнения пересыхает в горле. — Вы не знаете, какой эшелон туда пойдет в ближайшее время? И… и не могли бы вы помочь мне на него сесть?

От волнения даже никакой правдоподобной причины подобрать не смог. Но была надежда, что Костенко не станет ничего уточнять и сильно расспрашивать, помня мои прошлые заслуги и мою помощь ему.

Костенко смерил меня удивленным, изучающим взглядом.

— В Синельниково? — переспросил он, понизив голос и отводя меня немного в сторону от галдящих солдат. — А зачем тебе туда, Леня, если не секрет так срочно понадобилось?

Все же спросил.

— По очень важному делу, товарищ командир, — так же понизив голос и стараясь придать своему лицу как можно более значительное выражение, ответил я. — Государственной важности, можно сказать. И касается это не только меня.

Я чувствовал, что несу чушь, особенно в глазах опытного командира. Ну какое дело государственной важности может быть у подростка? Ладно бы я ему еще бумагу какую показал, что являюсь просто курьером. Но ничего путевого сейчс в мою голову просто не лезло. Казалось, главное добраться до Синельниково, а там… Что там будет я и сам пока слабо представлял.

Костенко хмыкнул, потирая свой шрам на щеке. Видимо, моя решимость и таинственность произвели на него некоторое впечатление. Он знал меня как мальчишку не робкого десятка, способного на неожиданные поступки.

— А ты не на фронт ли собираешься? — вдруг с подозрением спросил он. — Точно только до Синельниково?

— Точно, точно! — уверил его я.

А у самого от сердца отлегло. Он сам придумал себе причину моей нервозности, а то что-то объяснять я был не в силах.

— Ну, смотри, Ленька, дело твое, — сказал он после недолгого раздумья. — Если тебе так надо, есть у меня тут один знакомый начальник эшелона, на соседнем пути стоит. Говорит, как раз сейчас будет отправляться, на фронт, через Синельниково. Пойдем, попробую тебя в одну теплушку к этим ребятам пристроить. Может, и возьмут попутчика. Только веди себя там смирно, не высовывайся!

— Спасибо, товарищ Костенко! Век не забуду! — Я был на седьмом небе от счастья. — Вы меня очень выручили!

— Да не за что, Ленька, — он по-отечески хлопнул меня по плечу. — Ты меня и не так выручал! Удачи тебе в этих твоих «государственных», — ехидно хмыкнул он, — делах. И береги себя там!

Он провел меня к одной из теплушек, уже набитой красноармейцами, и, переговорив о чем-то с их старшим, сурового вида усатым военкомом, кивнул мне:

— Залезай, Леня. В Синельниково эшелон не останавливается, но паровоз скорость сбросит, соскочишь. Договорились?

— Договорились, товарищ Костенко! Еще раз спасибо!

Я пожал ему руку и полез в темное, пахнущее махоркой и зноем, нутро теплушки. Красноармейцы с любопытством разглядывали меня, но вопросов не задавали.

Какое-то время мы стояли; затем последние отлучившиеся бойцы вернулись в вагон, поезд дернулся, заскрипел и, медленно набирая ход, пополз из Екатеринослава на юг. Я сидел на каких-то ящиках, приткнувшись в углу, и старался не привлекать к себе внимания. Ветер свистел в щелях теплушки, сажа и искры из трубы паровоза летели прямо в открытую дверь, но я почти не замечал этого. Все мысли были сосредоточены на предстоящей, критически важной для меня встрече.

Красноармейцы, мои случайные попутчики, оказались ребятами словоохотливыми. Поначалу они с недоверием косились на меня, «штатского», непонятно как затесавшегося в их воинский эшелон, но потом, разговорившись, немного оттаяли. Ехали они, как я понял, на пополнение в одну из дивизий, сражавшихся с Врангелем.

— Ну что, хлопцы, — сказал один из них, молодой, белобрысый парень с озорными голубыми глазами, раскуривая самокрутку. — Похоже, этому Врангелю, черному барону, теперь карачун придет. Вишь, кака силища на него собралась! А там, глядишь, и мировая революция подоспеет. И заживем тогда!

— Заживем, ага, — хмыкнул другой, постарше, с угрюмым, изрытым оспой лицом. — Если доживем. Конца-краю этой войне не видать.

— А я слыхал, — вмешался третий, худой, чернявый, с хитрыми глазками, — что скоро деньги совсем отменят. Коммунизм же строим! Сначала нам, красноармейцам, и этим… совслужащим. А потом — и всем остальным.

— И как без денег? — спросил скептически настроенный рябой солдат.

— Ну как, известно как! По коммунистически! Каждому по потребностям, от каждого по способностям. Паек будут давать, а деньги — тю-тю. Вот это житуха будет!

— Деньги отменят? — удивился белобрысый. — А как же тогда? Без денег-то? На что ж тогда, скажем, бабу в городе «уговорить», или там, самогонки штоф?

— Дурак ты, Сенька, — усмехнулся чернявый. — При коммунизме бабы сами давать будут, по разнарядке. А горилки будет — залейся, и не самогона мутного, а «казенки». Все общее будет, все народное. Захотел — пошел в магазин, взял, что надо, и никаких денег. Красота!

— А я вот думаю, — возразил угрюмый. — Что без денег — это плохо. Как тогда считать, кто сколько работает, а кто — лодыря гоняет? Все ж на шею сядут, работать никто не захочет. И начнется опять бардак, похуже, чем сейчас. Деньги, они, конечно, зло, но без них — никак. Порядок должен быть.

Разгорелся жаркий спор. Одни доказывали, что отмена денег — это прямой путь к светлому будущему, к равенству и братству. Другие сомневались, опасаясь, что это приведет к еще большей разрухе и анархии. Я слушал их споры, не вмешиваясь, и думал о том, что эти простые, неграмотные мужики, уже теперь догадывались о трудностях, которые потом, уже в моей, будущей жизни, станут камнем преткновения для всей нашей советской системы.

До Синельниково было не так уж и далеко, меньше часа езды. Когда поезд начал замедлять ход, подъезжая к какому-то небольшому расхлябанному деревянному мосту перед самой станцией, военком до этого дремавший в углу, открыл глаза и кивнул мне:

— Ну, паря, приехали. Давай, выпрыгивай, а дальше — пешочком. Тут недалеко, версты полторы не больше!

Я поблагодарил его и моих случайных попутчиков. Поезд по мосту ехал всего верст десять — двенадцать в час, но прыгать все равно было страшно — совсем рядом проплывали толстенные деревянные, пахнущие креазотом балки, влепиться в которые мне очень не хотелось, а помост под рельсами весь был искурочен снарядами. Тем не менее, приловчившись, я выпрыгнул. Каблуки громко стукнули по доскам настила, я по инерции пробежал несколько метров за поездом, и вот, я уже на твердой земле. Уфф… Доехал.

Станция Синельниково, когда я до нее добрался, представляла собой небольшой, но оживленный железнодорожный узел. Несколько путей, небольшое, но крепкое здание вокзала из красного кирпича, водонапорная башня, какие-то пакгаузы. Но сейчас здесь было необычно многолюдно и суетливо. Повсюду сновали военные — от простых красноармейцев до командиров с ромбами в петлицах, слышались отрывистые команды, трещали телеграфные аппараты, у перрона фыркал и пыхтел сизым дымом автомобиль. Чувствовалось, что здесь действительно находится какой-то важный штаб, центр принятия решений.

Штабной поезд разительно выделялся среди других своей солидностью. Он был составлен из больших салон-вагонов темно-зеленого цвета, с тщательно зашторенными окнами, у которых, несмотря на мороз, недвижно стояли на часах двое рослых, подтянутых красноармейцев с винтовками с примкнутыми, тускло поблескивавшими на солнце, штыками. Возле вагона курили и о чем-то разговаривали между собой люди в хорошо сшитых кожаных куртках, добротных военных френчах — очевидно, работники штаба. Да, это явно был он, штабной поезд Юго-Западного фронта, о котором говорил Костенко.

С независимым видом пройдя мимо, я затаился за углом пакгауза, наблюдая за этой деловитой суетой и лихорадочно соображая. Пробраться внутрь, мимо такой охраны, было почти невозможно, да и бессмысленно. Нужно было придумать какой-то предлог, какой-то ход, чтобы меня хотя бы выслушали и допустили к будущему вождю и лучшему другу всех физкультурников.

Раздумывая, как лучше все это устроить, я сразу отбросил мысль рассказать «всю правду». Нет, это было бы слишком наивно, слишком неправдоподобно. Он просто не поверит, примет меня за экзальтированного сумасшедшего или, хуже того, за провокатора, подосланного какими-нибудь его врагами. Но чем тогда я могу его «зацепить»? Насколько я знаю из исторических романов и кинофильмов, товарищ Сталин, вообще говоря, никогда не любил фантазии — это «человек дела». Значит, он ценит не всякие завиральные идеи, а конкретные действия. Что же, попробую-ка я показать лицом свои немногочисленные, но вполне весомые заслуги. Крушение «Дроздовца» — это не кот начхал. При желании можно сделать из этого факта далеко идущие выводы о большом будущем диверсионной борьбы на железных дорогах! Да и из «пионерской коммуны» можно сделать некий маяк, пропагандистский пример работы партии с молодежью! В конце концов, настоящие «пионеры», появившиеся примерно в это же время, активно продвигались как важная часть воспитания политически активной смены. Так, а если все эти идеи его не заинтересуют? Сходу, конечно, трудно что-то придумать еще. Ну да ладно, по ходу разговора попробую придумать еще что-нибудь. Как говорится, «война план покажет».

Устроившись за пакгаузом, я продолжал наблюдать за обстановкой. Преодолеть часовых я не надеялся — разумеется, никто не пустит в штабной поезд какого-то непонятного парнишку. Но вдруг Сталин выйдет на перрон покурить? По собственному опыту я помнил, что люди, безвылазно сидящие в вагонах, да еще и в такую жару, рано или поздно начинают испытывать непреодолимое желание «выйти размяться». Наверняка Иосиф Виссарионович — не исключение!

Время шло, а Сталин все не выходил. Постепенно я начал догадываться, что причина, по которой современные мне пассажиры выскакивают на перрон, для товарища Сталина не существует — ни про какие антитабачные правила пока еще и слыхом не слыхивали, а значит, он спокойно может курить в собственном вагоне. Ндааа… И что же мне делать?

Стемнело. На станцию опустилась душная июльская ночь. На перроне зажгли керосиновые фонари; они лениво горели, тускло освещая лишь небольшие пятачки вокруг себя. Перрон затих, замер в ожидании рассвета. Только изредка доносился далекий паровозный гудок или приглушенный кашель часового.

Но окна в одном из вагонов штабного поезда по-прежнему ярко горели. Желтый, теплый свет лился из-за плотно задернутых штор, словно маяк во тьме. Определенно, именно там сейчас работает Сталин! Еще в прошлой жизни я читал, что будущий Генеральный секретарь — «сова», любит работать по ночам, и под его ритм работы еще придется подстраиваться и партийным, и советским органам, и наркоматам!

Что же, теперь я примерно знаю, в каком вагоне он находится. Осталось лишь попасть туда.

И тут в моем мозгу возник отчаянный, безумный план. Раз нельзя войти через дверь, значит, нужно попробовать по-другому!

Глава 6

Поначалу мелькнула мысль пробраться по крышам вагонов, но я ее отбросил. Расстояние между вагонами слишком велико, придется перепрыгивать с крыши на крышу, и меня неминуемо обнаружат по стуку каблуков по гулкой деревянной крыше. Решил идти «низом» — под вагонами. Страшно, конечно, но в целом — безопасно: в отличие от дизельного или электропоезда, паровоз никуда не поедет внезапно. Сначала ему надо развести пары, а это очень небыстрое дело.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, я, стараясь двигаться как можно тише и незаметнее, пробрался под стоявшие на соседнем пути товарные вагоны. От колесных пар тянуло запахом смазки, между шпалами кое-где пробивалась трава.

Револьвер вдруг остро уперся в ребра. Черт! Я же совсем про него забыл!

Что делать? Так и идти, прямо с оружием? Опасно! А что, если меня заметят? Что, если поймают? Расстреляют сгоряча прямо на месте как диверсанта, и никто даже не узнает, зачем я сюда пришел! С другой стороны, бросить его здесь — тоже не дело: начнут осматривать пути, обнаружат, и результат будет такой же, как не хуже того. Аааа, что делать?

Нащупав за пазухой теплый металл нагана, я немного успокоился. Месяц назад я упросил Свиридова сделать на нем дарственную гравировку. Несомненно, она привлечет внимание, а в совокупности с разрешением на оружие, сможет послужить доказательством, что я — не какой-то там диверсант, а заслуженный человек, принесший немалую пользу Советской Республике. А вот патроны, пожалуй, стоит вынуть, тем более что их и осталось–то всего две штуки.

Так я и сделал. Остановившись на минуту, на ощупь вынул из барабана длинные патроны Нагана и засунул их в карман. Все-таки так спокойнее!

Ползком я медленно и бесшумно двигался от вагона к вагону, пока не оказался прямо под штабным салон-вагоном Сталина. Я понял, что достиг цели, когда увидел отсвет от горящих окон на перроне рядом с рельсами. Я слышал, как над головой, в вагоне, ходят люди, как скрипят половицы, доносятся приглушенные голоса. Сердце готово было выпрыгнуть из груди от страха и волнения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.